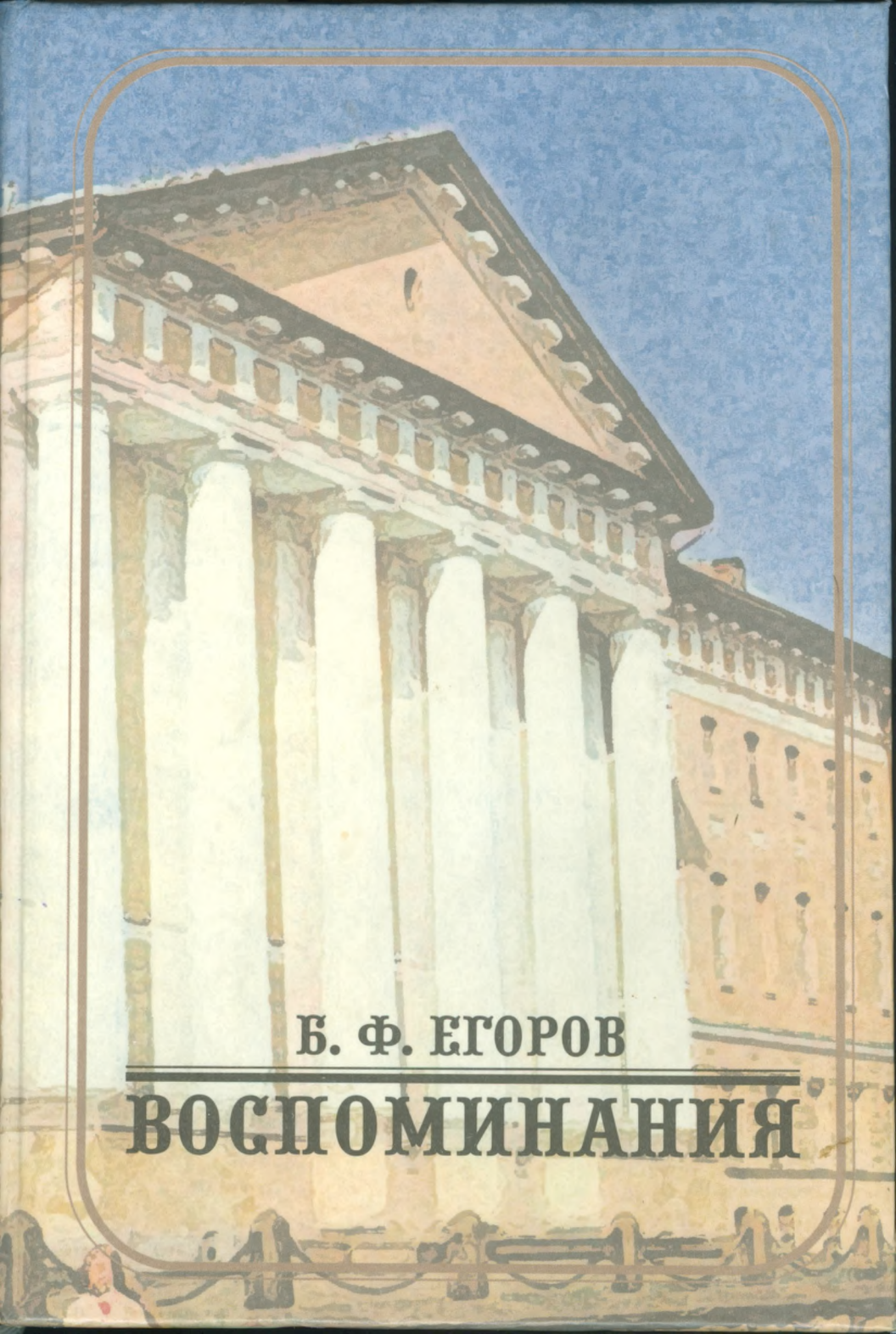

Б. Ф. ЕГОРОВ

# ВОСПОМИНАНИЯ

Дорогой Фанне Яновне Каунчай,
наконец-то оказия в лице А.С. Эдушевой!

8.III.05

Б. Б.

с праздничными
добрыми пожеланиями!

БИБЛИОТЕКА
КАНУНОВОЙ ФАИНЫ ЗИНОВЬЕВНЫ

*НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЕДШЕЕ*

Б. Ф. ЕГОРОВ

# ВОСПОМИНАНИЯ

1-980096

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ КНИГ
ТГУ

Издательство
«Нестор-История»
СПбИИ РАН

Санкт-Петербург
2004

УДК 92:947
ББК 63.3(2)

**Б. Ф. Егоров. Воспоминания.**
СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. — 472 с., ил.

ISBN 5-98187-046-X

Книга воспоминаний известного литературоведа, историка, культуролога профессора Б.Ф. Егорова состоит из двух частей: первая содержит очерки не только о детстве автора, протекавшем в разных городах страны, и становлении духовного и нравственного облика школьника, но и о родителях и родственниках с их сложными и часто трагическими судьбами; вторая часть включает главы, посвященные взрослой жизни автора (студенчество, преподавание в Тартуском и Ленинградском университетах, в вузах США), очерки об учителях и старших коллегах (Д.С. Лихачев, Ю.Г. Оксман, В.Я. Пропп, У.Ф. Фохт, Е.Г. Эткинд), о товарищах в научном и человеческом смысле (Ю.М. Лотман, З.Г. Минц, Я.С. Билинкис, Б.О. Корман, Е.А. Маймин) и даже об идеологических недругах (Ф.Я. Прийма); рассказано о встречах с выдающимися людьми XX века (М.Л. Ростропович, Е.С. Булгакова, Мирослав Дрозда) и о многих других встречах и событиях. Автор подчеркивает, что писал книгу под девизом: «Культура — это память».

This copy is prohibited for sale outside Russia and CIS countries.
The legal sale: http:\\nestor-historia.org

ISBN 5-98187-046-X
9 785981 870460 12

© Б. Ф. Егоров, 2004
© Издательство СПбИИ РАН «Нестор-История», 2004

# СОДЕРЖАНИЕ

## Далекое-близкое детство

Подступы....9
Мои предки....16
Отец (Федор Иванович Егоров; 1884–1968)....36
Мама (Анастасия Яковлевна; 1900–1995) и Шураня (Александра Ивановна; 1894–1961)....62
Судьба И.А. Фесенко....78
Раннее детство. Балашов-Лисичанск....86
Круг чтения....114
Еда и питье....122
В Старом Осколе....134
1937 год — Пушкинский юбилей....146
О полетах и сильных ощущениях....153
Мои «закрытости»....161
Сны....164
Школа....174
Игры и творчество....192

## Взрослые воспоминания

Как я стал литературоведом....213
Найти бы в КГБ мои листовки!....221
Питерские памятники 1945–1949 годов и легенды об их оживлении....224
Ю.М. Лотман и Петроград-Ленинград-Петербург....226
У истоков Тартуской школы. Воспоминания о 1950-х годах....230

Жизнь Ю.М. Лотмана в Эстонии.....253
Полвека с Ю.М. Лотманом.....257
Наша молодая кафедра.....266
На рубеже пятидесятых (отрывок).....273
Ю.М. Лотман в быту: характер и поведение.....275
ЮрМих и Зара.....278
Товарищ, коллега, личность (о З.Г. Минц).....287
Вальмар Адамс — коллега, литератор, человек.....292
Ю.Г. Оксман и Тарту.....303
Яша и Яков Семенович.....330
В Ленинградском университете 1960-х годов.....335
Что помню о В. Я. Проппе.....346
Георгий Пантелеймонович Макогоненко как рассказчик.....356
Люди, нелюди и полулюди (памяти Е.Г. Эткинда).....359
Из истории советской цензуры (издательские редакторы как «цензоры»).....365
О ценности устных сообщений очевидцев.....370
Письма Елены Сергеевны Булгаковой.....374
Мирослав Дрозда.....383
Вместо воспоминаний о Ф.Я. Прийме.....384
Сын профессора и артистки (очерк о У.Р. Фохте).....388
Слово о Б.О. Кормане.....399
Е.А. Маймин как тип русского интеллигента.....405
Моя Америка-89 .....409
Д.С. Лихачев и «Литературные памятники».....456
Из «лихачевского» дневника.....461
Вместо итогов.....469

Библиография публикаций первоначальных вариантов некоторых глав.....470

ученого отразилась прежде всего в четкой композиции материала, в циклизации стихотворений, в продуманной системе указанных дат (как правило, стихотворения не датируются, но уж если дата поставлена, то она имеет свой идейный и исторический смысл, она тогда уже становится нерасторжимой частью произведения, не менее значимой, чем заглавие). Важным оказывается и прямое вторжение научного, аналитического материала в художественный текст. Речь идет не об эссеистской прозе, там сам жанр требует сплава художественного и научного мышления, а о сборниках стихотворений. Начал свой творческий путь Адамс с манифеста о важности неточной рифмы (приложение к первому сборнику стихотворений), а последний итоговый однотомник кончается интересными авторскими комментариями к произведениям.

Обыватели уже подхихикивали по этому поводу: дескать, что за неприличие, что за откровенность, как может сам автор объяснять свои стихи и т. д. Между тем почти ни один значительный поэт не оставлял своего наследия без каких-то толкований и примечаний, правда, далеко не всегда публиковавшихся при жизни. И вообще, побольше бы авторских объяснений: насколько бы интереснее и легче работать по таким следам историкам (я знаю одного поэта, который в машинописи фактически подготовил «академическое» собрание своих стихотворений: со всеми вариантами, с подробным идеологическим и реальным комментарием, с творческой историей — эх, если бы все крупные писатели проделали подобную работу!..).

Авторские замечания к «*Запыленному золоту юности*» — научная помощь читателю. Вальмар Адамс как бы синтезирует эти якобы враждебные сферы человеческой деятельности, показывая тем самым наивность нервозных страхов об опасности научной «экспансии», об умирании искусства и т. п.

Последние книги Адамса ни «секунды» не лежали на прилавках книжных магазинов, раскупались воистину мгновенно. Тартуанцы с улыбкой рассказывают, что уже после продажи основной части тиража в город завезли еще какое-то количество экземпляров «*Золота*», но продавать стали не отдельно, а вкупе с неходовыми книгами (были сделаны подарочные пакеты, красиво перевязанные ленточкой): наверное, подобные подарки можно истолковать как истинную цену и истинную награду автору.

Адамс ушел из жизни в 1993 году, испытав напоследок счастье творчества и признания...

## Ю.Г. ОКСМАН И ТАРТУ

Речь идет не о пребывании ученого в этом городе (оно, увы, не состоялось, не было даже мимолетного приезда, хотя Оксман очень хотел побывать в старом университетском центре), а о человеческих и творческих связях с нами, молодыми тартускими филологами: с Юрием Михайловичем Лотманом, оказавшимся в Тарту в 1950 году преподавателем Учительского института, а с 1954 года — доцентом, с 1960 года — заведующим кафедрой русской литературы Тартуского университета (и профессором с 1963 года); его женой Зарой Григорьевной Минц, доцентом ТГУ с 1956 года; мною, Борисом Федоровичем Егоровым, с 1951 года — преподавателем ТГУ, в 1954–1960 годах — заведующим кафедрой русской литературы (с 1955 года — доцентом), в 1962–1968 годах — доцентом Ленинградского университета; Сергеем Геннадиевичем Исаковым, нашим студентом, окончившим ТГУ в 1954 году и с 1955 года — преподавателем кафедры.

В дальнейшем я буду использовать и обильно цитировать нашу переписку с Ю.Г. Оксманом; сохранились 34 письма Лотмана (1950–1970) и 3 письма Минц (1963–1965) к Оксману[24], 40 писем Егорова (1952–1967) к нему же (39 писем[25]; в этом комплекте есть и одно письмо Лотмана; одно письмо Егорова[26]), 42 письма Оксмана к Лотману и Минц (1953–1970)[27], 33 письма Оксмана к Егорову (1952–1969; мой личный архив).

Первое знакомство Юлиана Григорьевича Оксмана (в дальнейшем пишу сокращенно: Ю.Г.; адресаты именуются по фамилиям, без инициалов) с будущим тартуанцем Лотманом произошло заочно и без участия последнего. Бывший ученик Ю.Г. по ленинградскому Институту истории искусств доцент Ленинградского университета Н.И. Мордовченко писал своему бывшему

---

[24] РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. № 639.

[25] Там же.№ 492, 493.

[26] Там же. Оп. 3. № 23.

[27] Рукописный отдел библиотеки Тартуского университета. Выражаю сердечную благодарность директору библиотеки П. Олеску, а также Т. Кузовкиной, Т. Шаховской и С. Панову за помощь в получении копий писем.

наставнику 18 декабря 1948 года: **«Ю. Лотман — участник моего семинара, необыкновенно талантливый и одаренный юноша, каких я еще никогда не встречал. Он занимается масонами, Карамзиным, Радищевым, но сейчас — больше всего масонами. Прошлогодний доклад о карамзинском "*Вестнике Европы*" меня совершенно потряс»**[28] . В свою очередь Н.И. Мордовченко был университетским учителем Лотмана, так что последний может считаться как бы духовным внуком Ю.Г. Очевидно, по инициативе Н.И. Мордовченко Лотман-студент послал ему 30 января 1950 года свою недавно вышедшую статью-публикацию[29] , одно из самых ярких архивных открытий тех лет — давно искомый специалистами текст брошюры «*Краткое наставление русским рыцарям*» околодекабристского деятеля графа М.А. Дмитриева-Мамонова. Посылка оттиска статьи сопровождалась следующим письмом:

> **«Глубокоуважаемый Юлиан Григорьевич!**
> **Посылаю Вам оттиск моей статьи, содержащий публикацию *"Кратких наставлений"* Дмитриева-Мамонова. Статья эта является частью работы, посвященной Радищеву, которую я пишу в семинаре Николая Ивановича Мордовченко. Чрезвычайно существенный для моей работы вопрос связи различных общественно-литературных течений конца XVIII века с декабризмом для меня до конца не ясен. Мне тем более было бы приятно, если бы Вы сочли возможным откликнуться, хотя бы коротко, и указать мне на промахи моей первой печатной работы».**

Так началась многолетняя переписка. Ю.Г., которого очень интересовала эта тема, тотчас откликнулся письмом, которое, к сожалению, не сохранилось. И затем наступил перерыв.

Следующий повод, приведший к началу переписки со мной, был очень важный для судьбы Ю.Г. Оказавшись в 1946 году — после сталинских лагерей — профессором Саратовского университета, он чувствовал себя очень неуютно. Тогдашний заведующий кафедрой русской литературы профессор А.П. Скафтымов, замечательный ученый и человек, отличался совершенно «непробивным» характером, был скромен и тих и при косых взгля-

---

[28] *Марк Азадовский, Юлиан Оксман.* Переписка 1944–1954 / Изд. подготовил К. Азадовский. М., 1998. С. 204.

[29] Вестник ЛГУ. 1949. № 7.

дах и настроениях начальства по отношению к Ю.Г. ничем не мог ему помочь в издательских планах, которые у активного Ю.Г. были «наполеоновские»: он готовил к печати свои монографии и сборники статей, «*Ученые записки*» кафедры, труды учеников, но все это лениво тормозилось руководством университета и партийной властью Саратова. Ю.Г. постоянно задумывал перебраться в какое-нибудь более творческое и издательское место. Он писал своему другу М.К. Азадовскому 17 июня 1952 года, что, имея за плечами десять лет каторги, он не может рассчитывать на внимание городского и университетского руководства; **«а факультетские и кафедральные мои лидеры не имеют никакого веса, а потому абсолютно бессильны что-либо сделать».** Поэтому Ю.Г. намерен искать место **«в каком-нибудь республиканском вузе на востоке»**[30] .

В ответном письме от 25 июня 1952 года М.К. Азадовский, включившись в обсуждение этих планов, упоминает Томск, Иркутск, Свердловск, Молотов (Пермь), Одессу, Ригу, Вильнюс, Тарту, но считает все же Саратов лучшим местом для Ю.Г. Но тот не успокоился и, видимо, продолжал поиски более приемлемого города. В результате он остановился не на восточных, а на западных университетах: Вильнюсском и Тартуском, и послал ректорам официальные запросы с приложением характеристики, выданной академиком В.В. Виноградовым. Не знаю, как реагировал вильнюсский руководитель, но наш ректор Ф.Д. Клемент, видный партийный функционер, а одновременно — редчайший случай! — и человек науки, откликнулся быстро. Он немедленно вызвал меня (хотя официально заведующим кафедрой был местный старый интеллигент Б.В. Правдин, но я был у него «советским» консультантом), досконально расспросил об Оксмане как об ученом и человеке (о последнем аспекте я тогда ничего не мог сказать, но быстро узнал у питерского старшего коллеги С.А. Рейсера утешительные данные и сообщил ректору) и отреагировал неслыханно оперативно: нашел ставку и двухкомнатную квартиру. Ю.Г. писал М.К. Азадовскому во второй половине августа 1952 г.: **«Ректор Тарт<уского> унив<ерситета> прислал мне уже две телеграммы и возбудил ходатайство в министерстве о моем переводе из Саратова в Тарту. <...> Что вы скажете по этому**

---

[30] *Марк Азадовский, Юлиан Оксман.* Переписка 1944–1954 / Изд. подготовил К. Азадовский. М., 1998. С. 204.

**поводу? Знаете ли вы кого-ниб<удь> в Тарту? Что за город, что за люди? Ведь это все-таки очень близко от Ленинграда (поезд из Москвы едет в Тарту через Псков)»**[31] .

На ловца и зверь бежит: я как раз удачно подвернулся и на закате лета 1952 года познакомился с опальным профессором. Будучи в конце августа в Москве, я решил узнать в редакции «*Литературного наследства*», предполагаются ли тома, посвященные шестидесятникам: я заканчивал кандидатскую диссертацию о Добролюбове и использовал много интересных архивных материалов, которые хотелось бы опубликовать, потому дважды посетил редакцию. А Ю.Г., свой человек в «*Литературном наследстве*», много тогда делавший для томов о декабристах, Белинском и Герцене, каждое лето снимал дачу под Москвой и много дней проводил в библиотеках и в редакции. Услышав мой разговор с сотрудниками «*Литературного наследства*», где был упомянут Тарту, ко мне живо обратился невысокий плотный человек, представился: «*Я — Оксман. Вам известно мое имя?*» (еще бы не известно!) — и начал подробно расспрашивать об университете. Кажется, мои описания ему понравились, и он начал склоняться именно к тартускому варианту. Но тут произошли неожиданные события. Когда Москва (министр высшего образования М.А. Прокофьев) и тартуский ректор запросили Саратовский университет о присылке характеристики Ю.Г., то местное начальство зашевелилось: поняло, кого оно теряет — и первый секретарь Саратовского обкома партии, фактический губернатор, дважды вызывал Ю.Г. и рассыпался в комплиментах. Ю.Г. так излагает его тирады в письме к М.К. Азадовскому от 5 октября 1952 года:

> **«Мы все изучили, проверили всю вашу работу за 5 лет, выслушали ваших преследователей, запросили компетентных товарищей в Москве и пришли к заключению, что отпускать вас из Саратовского унив<ерситета> это значит окончательно оголить филол<огический> фронт и лишиться, неизвестно почему, крупнейшего специалиста. Мы уже взгрели ваше унив<ерситетское> начальство за вас, будем бить их за все их глупости и дальше, условия для вашей работы будут созданы, мы у вас в большом долгу; сборник о Белинском будет выпущен в свет; по всем вопросам обращайтесь прямо к нам»**[32] .

---

[31] Там же. С. 274.

[32] Там же. С. 279.

Ю.Г. клюнул на эти обещания, к тому же он, видимо, ожидал от нашего ректора добавочных подтверждений, — и остался в Саратове. Я грустновато писал ему 16 ноября 1952 года:

**«Между прочим, Тартуский университет ждал Вас около двух месяцев, ректор уже было освобождал отдельную квартиру и т. д. Но я только на праздниках, будучи в Ленинграде, узнал от С.А. Рейсера, что у Вас, кажется, улучшилась обстановка в Саратове. Если так, то замечательно; разумеется, при благоприятных обстоятельствах Вам нет смысла менять Саратов на Тарту».** Ю.Г. быстро ответил 27 ноября: **«Вы говорите о том, что меня ждали в Тарту два месяца. Но чем же объяснить, что я не получил ответа на мое сентябрьское письмо к ректору, в котором я запрашивал о квартире и о литературоведческих кадрах, в котором просил связать меня с заведующим кафедрой? Если бы я располагал этим ответом, я мог бы настоять на своем желании. Ну, да это сейчас все равно уже все в прошлом».**

А ниже, тоже не без грусти, добавил:

**«В редакции (“*Литературного наследства*”. — *Б.Е.*) кипит работа над Герценовскими томами, один из которых сверстан и к 1 февраля будет у всех на руках. Второй том подготавливается к набору. Это именно тот том, который я рассчитывал с вашей помощью делать в Тарту. Но мне пришлось остаться в Саратове, а потому я от реализации своих начальных планов должен был отказаться. Здешние библиотеки не обеспечивают возможности для работы над Герценом, а поездки в Москву затруднены. В Тарту не только библиотека богаче, но и Ленинград под боком. Это, кстати сказать, одна из причин моего желания перебраться в Прибалтику».**

Так неудачно закончилась наша, молодых тартуских филологов, попытка сделать Ю.Г. своим коллегой. Но творческие связи в дальнейшем еще больше укрепились. Идея Ю.Г. работать вместе с тартуанцами над герценовскими томами «*Литературного наследства*» не осуществилась (первые три тома под общим заглавием «*Герцен и Огарев*» вышли в Москве соответственно в 1953, 1955, 1956 годах), но с 1954 года начало выходить тридцатитомное академическое собрание сочинений А.И. Герцена, при активном участии Ю.Г. (официально он был включен в редколлегию издания в 1956 году, на IX томе; с XIII тома, с 1958 года, он уже числился заместителем главного редактора В.П. Волгина, а

реально — возглавлял редколлегию), и Ю.Г. стал привлекать нас к комментированию имен и событий, связанных с Тарту, то есть с Дерптом, по названию в герценовские времена.

Началось это сотрудничество с моего вопроса к Ю.Г. об одной герценовской фразе. В середине 1950-х годов я, занимаясь воспоминаниями А.Н. Гончарова, племянника писателя, бывшего дерптского студента, изучал литературу по истории Тартуского университета и натолкнулся на такое место в статье Герцена «*Провинциальные университеты*»: **«Мы знаем имя того дерптского ректора, который не хотел склонить своей головы под фельдфебельское иго»**[33]. Зная, что под руководством Ю.Г. в Москве идет работа над томами герценовского собрания сочинений, посвященными «*Колоколу*», я спросил (письмо от 6 октября 1957 года) у шефа издания, как трактуется в примечаниях эта фраза. Ю.Г. ответил 19 октября: **«Тремя строчками об уходе в отставку Паррота, без особого углубления в эту тему»**. Мне показалось странным такое объяснение. Г.Ф. Паррот, первый ректор Дерптского университета (1802–1803), многократно потом избиравшийся на этот пост, был любимцем Александра I, да и Николай I относился к нему с почтением: в 1826 году Паррот был избран в императорскую Академию наук и переехал в Петербург. Не вяжется его история с фразой Герцена. Я занялся разысканиями и с помощью Е.В. Петухова, автора солидной монографии по истории Дерптско-Юрьевского университета (1902), и хорошего советчика, тартуского историка Ю. Мадиссона, развернул совсем другой сюжет и послал его Ю.Г.: явно речь шла не о Парроте, а о К. Ульмане, ушедшем из Дерптского университета в 1842 году. Ю.Г. согласился с такой трактовкой и поместил ее в XV томе Герцена (без упоминания моего авторства), а я позднее включил эту справку в свою статью о воспоминаниях А.Н. Гончарова[34].

Ю.Г. теперь уже сам обратился ко мне с просьбой откомментировать другую статью Герцена, специально посвященную Тартускому университету (из «*Колокола*» от 15 января 1860 года):

---

[33] Колокол. № 1. февр. 1861.

[34] *Герцен А.И.* Собрание сочинений в тридцати томах. Т. XV. М., 1958. С. 301–302; Учен. зап. Тарт. ун-та. Вып. 87. 1960. С. 136.

«Заметка, полученная от вас о профессоре К. Ульмане, вдохновляет меня на просьбу к вам или к тому из ваших коллег, которым это окажется сподручнее, написать примечания к заметке Герцена *"Das livländische Athen"* » (письмо от 22 декабря 1957 года).

Я предложил эту работу младшему коллеге С.Г. Исакову, который уже тогда стал замечательным знатоком тартуских дел XIX века и который, просидев много дней над немецкими богословскими диссертациями (нужно было, например, найти источник фразы Герцена о профессорах, споривших, «могут ли ангелы плодиться или нет»), блистательно откомментировал герценовскую статью. Текст был с одобрением принят Ю.Г., сразу же откликнувшимся:

«Очень вам благодарен за присылку комментариев С.Г. Исакова к заметке Герцена о Дерптских студенческих делах. Редакция академического Герцена получила примечания к этой публикации от З.И. Власовой (аспирантка ленинградская), но С.Г. Исаков раскопал гораздо больше материалов, чем его предшественница. Поэтому напечатаем его работу, а из примечаний Власовой воспользуемся только выписками из *"Dorpater Zeitung"* 1857 года, которых нет у Исакова. Так как XV том давно в типографии, то примечания Исакова дадим на этих же днях дополнительно» (письмо ко мне от 13 марта 1958 года).

Ю.Г. ошибся: статья шла в конце XIV тома, который впрочем тоже был уже в типографии, но примечания Исакова удалось вставить[35].

Мы регулярно, как одному из немногих непитерских старших коллег, посылали Ю. Г. все свои вышедшие в свет статьи (а позднее — и книги), и он тотчас же откликался: в письме к Лотману от 15 мая 1953 года подчеркивал ценность трудов адресата, отмечал, что учитывает их в своих работах; в письме ко мне от 19 сентября 1954 года благодарил за присылку наших факультетских «*Ученых записок*» и хвалил статью Б.В. Правдина «*Русская филология в Тартуском университете*», мою — «*Молодой Добролюбов как фольклорист и этнограф*» и комментированную публика-

[35] *Герцен А.И.* Собрание сочинений в тридцати томах. Т. XIV. М., 1958. С. 531–533. Авторство С.Г. Исакова указано.

цию письма А.С. Грибоедова, приготовленную тогда еще студентами С.Г. Исаковым и В.И. Беззубовым[36] .

И в дальнейшем мы выслушали немало похвал от Ю.Г.: в письмах к Лотману он весьма положительно оценил рукопись его статьи о М.А. Дмитриеве-Мамонове, которая будет опубликована в «*Ученых записках ТГУ*» в 1959 году (в письме от 8 августа 1958 г.: **«Давно мне не приходилось смотреть ничего более интересного <...> без вашей работы не обойдется ни один исследователь периода десятых и двадцатых годов»**; в том же письме — высокая оценка книги Лотмана «*А.С. Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени*»[37] , статьи «*К эволюции построения характеров в романе "Евгений Онегин"*»[38] (в письме от 30 марта 1960 года), статьи о народности литературы преддекабристского периода[39] (в письме от 14 сентября 1960 года) и т. д.

Ему особенно было приятно, что Лотман является как бы его духовным внуком: **«из всех литературоведов вашего поколения именно вы являетесь и самым талантливым и самым образованным. Вы совмещаете в себе историка и филолога, а без этого нельзя плодотворно работать в нашей области. Я горжусь тем, что воспитал в свое время Н.И. Мордовченко, который является вашим учителем»** (письмо к Лотману от 2 января 1961 года); и еще более лирично и высоко в письме от 27 мая 1961 года, по прочтении автореферата докторской диссертации Лотмана:

> **«Я горжусь тем, что ваш учитель Николай Иванович Мордовченко был самым близким мне по всем своим научным интересам и методологической направленности из моих учеников <...> связан я с вами не только личным знакомством и интересом к вашим работам, но и традициями Петербургского-Петроградского-Ленинградского университета, из которого я был насильственно изъят в 1936 года, но от которого мне и сейчас никак не оторваться (в некотором, так сказать, высшем смысле)».**

Но не нужно думать, что в отзывах Ю.Г. присутствовали одни комплименты. Он не отличался культурным лицемерием и чест-

---

[36] Учен. зап. Тарт. ун-та. Вып. 35. 1954.

[37] *Лотман Ю.М.* А.С. Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. Тарту, 1958.

[38] Пушкин. Исследования и материалы. Т. 3. М.; Л., 1960.

[39] О русском реализме XIX века. М.; Л., 1960.

но излагал свои впечатления: если был доволен, то так и говорил, если нет, то тоже не лукавил. Когда он узнал, что Лотман пропагандирует определение А.Н. Радищева как революционного демократа, а не дворянского революционера, то сразу взъерошился. Из письма ко мне от 14 апреля 1956 года:

«Прошу передать мой привет Юрию Михайловичу. Мне досадно, что не мог встретиться с ним на докладе моем о Пушкине и Радищеве. Еще более досадно, что не могу признать Радищева "рев. демократом". Дело здесь не в "дурном тоне" этой концепции, а в ее исторической несостоятельности в русских условиях конца XVIII века. Впрочем, почитаю "*Вопросы философии*"».

А когда он получил от Лотмана оттиск той самой статьи из философского журнала (1956. № 3), то решительно не согласился с автором. Ю.Г. сближал Радищева не с Белинским и шестидесятниками, а с декабристами, более же поздних демократических радикалов — с их нереволюционными предшественниками начала XIX века; впрочем, он усматривал некоторые черты этой концепции и у Лотмана, как видно из письма к последнему от 18 октября 1956 года:

«Вы очень хорошо говорите о разночинцах конца XVIII в. и первой трети XIX — от Пнина и Крылова до Надеждина, но забываете о самом главном — о том, что если для дворянских революционеров неотделима борьба с крепостничеством от борьбы с самодержавием, то для разночинцев, в том числе и для тех из них, которые были предшественниками и учителями наших револ. демократов, характерно раздельное толкование принципов борьбы с абсолютизмом (это, мол, дворянские штучки) и борьбы с крепостничеством. Я об этом давно хотел написать, но меня очень уж запугали мои друзья, считая, что вся эта проблематика слишком уж непривычна для медных лбов, монополизировавших в пору известной личности вопросы идеологии. А между тем без моего толкования политической позиции разночинцев 20–30-х гг. непонятен и Белинский периода 1836–1840 гг. Мы привыкли смотреть на переход от "дворянских революционеров" на позиции "революционной демократии", как на некое помазание, как на производство в следующий чин, а между тем и Белинский, и Чернышевский, не говоря уже об их эпигонах 50–60-х гг., нередко твердили зады, давно уже преодоленные дворянскими революционерами. Я имею в виду не только политическую невостребованность разночинцев... Думаю, что мы с вами спорим только о словах, а на деле

**вы все же поддерживаете Бабкиных».** (Д.С. Бабкин — объект многих анекдотов, сотрудник Пушкинского Дома, занимавшийся Радищевым.)

В сознании Лотмана уже зрели подобные мысли, но окончательно они оформятся в начале 1960-х годов, при завершении им докторской диссертации: вероятно, немалую роль в их становлении сыграли письма Ю.Г.

Иногда Ю.Г., в целом положительно оценивая работы Лотмана, делал ряд конкретных замечаний. В отзыве по поводу статьи о Дмитриеве-Мамонове он сомневается, прав ли Лотман, отрицая душевную болезнь графа до 1825 года. **«С большим интересом»** прочтя статью Лотмана «*Источники сведений Пушкина о Радищеве (1819–1822)*»[40] , Ю.Г., однако, отверг предположение автора статьи о покупке Пушкиным уникального издания «*Путешествия из Петербурга в Москву*» в 1819 году, так как в то время у Пушкина не могло быть такой большой суммы денег (200 рублей); и почерк в записи на книге более поздний (письмо от 8 марта 1962 года). Лотман согласился с замечаниями.

Подобные пропорции были и в оценках моих статей: в основном Ю.Г. их хвалил, иногда делал мелкие замечания. Вот, например, его суждения о моих трудах «*О форме литературно-критических статей Н.А. Добролюбова*»[41] и «*Жуковский и Тарту*»[42] :

> **«С большим интересом прочел вашу статью о форме литературно-критических статей Добролюбова. Много тонких и умных наблюдений, и при том иногда на очень широком сравнительно-историческом материале (особенно перспективно у вас раскрытие авторского "мы"). Традиции Белинского у вас отмечены, но для Добролюбова еще более значим Герцен, о котором вы почему-то забыли. Очень дельная заметка у вас и о Жуковском в Тарту (почему-то вы мало говорите о Боке, а не говоря о нем, не отсылаете и к литературе "предмета")»** (письмо от 28 сентября 1956 года).

Но в одном вопросе я сцепился с Ю.Г. «намертво», мы так и не могли переубедить друг друга. В конце 1950-х годов в Ленин-

---

[40] Пушкин и его время. Вып. 1. Л., 1962.

[41] Учен. зап. Тарт. ун-та. Вып. 43. 1956.

[42] Эстония. VI. Таллин, 1956.

градском отделении издательства «*Художественная литература*» началась подготовка к работе над девятитомным собранием сочинений Добролюбова, в которой я принял активное участие. Большинство членов редколлегии и составителей томов без колебаний сошлось во мнении, что, помимо художественных произведений, дневников и писем, все публицистические и литературно-критические материалы нужно публиковать в едином хронологическом порядке, без разделения на статьи и рецензии. Если в 1840-х годах, во времена Белинского, разделение еще имело смысл, то редакция «*Современника*», понимая условность жанровой специфики, с 1858 года отказалась от дробных разделов, и в каждом номере журнала имели место только два отдела: «*Словесность, наука и художества*» и «*Критика и библиография*» (с 1859 года второй отдел стал называться еще более обобщенно: «*Современное обозрение*»). Поэтому и мы решили не разделять особо статьи разных объемов и жанров.

Ю. Г-чу был послан проспект издания, и он, глава предвоенного, 1930-х годов, полного собрания сочинений Добролюбова, где литературная критика была отделена от политики и публицистики, а статьи от рецензий, горячо оспаривал наш принцип. Я ответил так (письмо от 6 августа 1959 года):

«Дорогой Юлиан Григорьевич!

Спасибо большое за обстоятельные замечания по проспекту. Темное это дело — принцип расположения. Ведь стихи уже давно бросили располагать по жанрам. Такая тенденция постепенно проникает и в критику-публицистику (Герцен и Белинский! Хотя, конечно, это вещи совершенно разные!). Ведь для литературоведа (а именно на него ведь нужно рассчитывать; так наз. "массовый читатель" возьмет однотомник, и этого ему хватит с "гаком") значительно более важно изучать эволюцию взглядов, чем классификацию по жанрам. Поэтому общая тенденция "хронологизации" — объективно оправдана. И другое нужно учитывать. Для Белинского еще проблема жанра литературно-критической статьи явно существовала: обзорную статью не смешаешь с рецензией! Поэтому, кстати сказать, если уж спорить о правомерности хронологического или жанрового принципа расположения статей в нынешнем полном собрании сочинений — то о Белинском, конечно, бабушка надвое сказала. Честно говоря, если бы я издавал Белинского, то его бы по жанрам расположил. Другое дело — Добролюбов. Сведение критики к публицистике, всеобщий принцип "по поводу" — разрушили границы жанров, привели в общем к единому жанру критической монографии — и

разница получилась в основном количественная. Так думаю я, и примерно так же — Соломон Абрамович (Рейсер. — *Б.Е.*). Так что за единого, неделимого Добролюбова готов воевать».

Ответ Ю.Г. был 4 сентября; он ни с чем не согласился:

«Спорить с вами о лучших формах композиции собрания сочинений Добролюбова не стану — что за смысл со слепым говорить о цветах? Я занимаюсь этими вопросами очень давно, компоновал не одно полное собрание сочинений, не одно избранное, въедался во все издания классиков и наших, и западноевропейских, чтоб учесть их опыт — и пришел к определенным заключениям к концу своей жизни, резко расходящимся с нашей практикой (к этому слову сноска внизу: "По сути дела, все мы в этой области дилетантствовали, бездумно и примитивно!"— Б.Е.) в этой области. Хронологический принцип устраивает не читателя, а исследователя — здесь вы и все Рейсеры, конечно, правы. Но как можно, в интересах нескольких десятков специалистов, отпугивать от наших классиков миллионы читателей, как можно глумиться над волей автора, вытягивая в струнку и его шедевры, и его халтуру, механически объединять перлы мировой лирики с детскими виршами и случайными экспромтами (загляните в академического Лермонтова, в раздел последних стихотворений!). А ведь этот самый хронологический принцип часто является совершенной условностью, ибо даже произведения Пушкина, печатавшиеся как лицейские, оказывались потом предсмертными (и наоборот!). Но ведь и Добролюбов должен печататься даже по вашему плану не по законам Лемковского издания Герцена, а с учетом жанра произведений, ведь не даете вы *"Свисток"* вперемежку с рецензиями и статьями! Так почему же не задуматься об отделении статей от рецензий, подписного от анонимного? Знаю, что в отделе "*Библиографическая хроника*" печатались иногда и статьи (например, рецензия на Розенгейма). Но ведь данных случаев 5–6, и мы перенесем эти мнимые рецензии в первый раздел, объяснив свое решение в примечаниях».

Но наш актив издания Добролюбова не согласился с Ю.Г., считая его точку зрения такой же крайней, как и противоположная: М.К. Лемке печатал в предреволюционном собрании сочинений Герцена все подряд в хронологической последовательности — повести, заметки, письма, дневниковые записи, а Ю.Г. предлагал, наоборот, дробность, даже отделяя подписанное от анонимного.

Еще один небольшой спор возник по поводу принадлежности Добролюбову рецензии на книгу С.Н. Палаузова «*Румынские господарства, Валахия и Молдавия в историко-политическом отношении*»[43] . Согласно списку трудов Добролюбова, составленному Чернышевским, и гонорарным ведомостям «*Современника*», где деньги выписаны Добролюбову, издавна эта рецензия без колебаний включалась в корпус сочинений критика. Но Ю.Г. в статье о Добролюбове[44] , отверг авторство Добролюбова и приписал ее самому автору книги — С.Н. Палаузову.

Ю.Г. прислал мне оттиск своей статьи, я поблагодарил его, сказал, что дважды прочитал ее, но осторожно заметил: **«Что касается рецензии на книгу С. Палаузова, то у меня, честно говоря, нет такого ясного убеждения против Добролюбова: может быть, и не его, но для этого должны быть веские доказательства, а за него гонорарная ведомость, которая не 100%-ный аргумент, но все-таки...»** (мое письмо к Ю.Г. от 10 мая 1965 года). Ю.Г., увы, обиделся на такое замечание (письмо ко мне от 26 июня 1965 года):

> **«Я не поблагодарил вас за дружеский отклик на мою статью об одном из источников атрибутирования анонимных текстов Добролюбова только потому, что вы явно эту статью не прочитали, а обычные "любезности" меня давно уже не трогают. Если бы вы статью прочитали, то не могли бы требовать от меня дополнительных доказательств непринадлежности рецензии на книгу Палаузова Добролюбову. Я ведь снимаю самую постановку вопроса о возможности включить эту рецензию в корпус произведений Добролюбова. В этом-то и вся соль! Рецензию написал на свою книгу сам Палаузов, поэтому и деньги за нее выписаны были на имя Добролюбова, так как Палаузов был не только ее автором, но и цензором *"Современника"*. А других доводов нет и не было!»**

Такая аргументация меня не убедила, но я не стал ее оспаривать, а перевел разговор полушутя, полусерьезно в область методологии:

---

[43] Современник. 1859. № 3.

[44] Проблемы современной филологии (в честь академика В.В. Виноградова). М., 1965.

«Теперь о Вашей статье о Добролюбове. Грех Вам подозревать меня в комплиментах без прочтения — честное слово, читал внимательно! Просто у нас с Вами разные подходы: Вы — с презумпцией невиновности (то есть нужно доказывать сам факт принадлежности рецензии Добролюбову), а я с презумпцией обратной: коли уже были подозрения на Добролюбова, то нужно доказывать, что рецензия принадлежит не ему, а Палаузову. У нас с Вами разное юридическое воспитание» (письмо от 9 июля 1965 года).

Ю.Г., видимо, этим удовлетворился, ничего не сказал.

Горячие споры и обиды на несогласие с его мнением не повлияли на его дружеские чувства к тартуанцам, тем более что в полемике вокруг Добролюбова участвовал один я. Но и ко мне лично Ю.Г. не изменил отношения, продолжая дарить все свои выходящие книги и статьи и вдумчиво характеризуя все присылаемое ему. Я пожизненно благодарен ему за совет расширить временной интервал в замышленной мною в середине 1950-х годов докторской диссертации и в задуманной книге по ее теме. Я предполагал основательно исследовать начало самого бурного периода в истории русский журналистики и критики XIX века — 1860-е годы, ограничив себя отрезком 1855–1861 годов, и включить в качестве объектов не только светил литературной критики, но и деятелей второго и третьего ряда. Спросил совета у Ю.Г., и он ответил интересным письмом от 19 октября 1957 года:

«Ваш замысел сделать работу о русской литературной критике периода 1855–1862 годов очень приветствую. Период этот освещен крайне недостаточно, искусственное выделение Чернышевского, Добролюбова и Писарева внесло окончательную неразбериху в литературную борьбу этой поры. Но если всерьез войти в эту проблематику, так войти, чтобы книга оказалась всем нужной и не оставляла белых пятен в своих естественных разделах, чтобы она явилась наконец полноценной докторской диссертацией, — ее нужно начать со смерти Белинского, осветить семилетие с 1848 по 1855 год и лишь после этого идти к Колбасину, Вейнбергу и Пиотровскому, а иначе вас заклюют, так как без Чернышевского, Добролюбова и Писарева их эпигоны и подпевалы неправомерно вырастут и эпоха окажется искаженно представленной, независимо от всех оговорок. Судьба наследия Белинского в условиях террора 1848–1855 годов и в пору революционной ситуации 1857–1862 годов — вот стержень работы, причем отход на период 1848–1855

**годов позволит вам специально не останавливаться на больших именах следующего периода, а ограничить себя лишь общими справками о Чернышевском и Добролюбове. Другой путь — это показ ваших Колбасиных и Вейнбергов на фоне Добролюбова и Писарева. А стоит ли на это тратить время? Думаю, что не стоит. А без них — на одних Пятковских и Пиотровских — докторской диссертации не поднять».**

Я с благодарностью и пользой принял этот совет, расширил интервал до тринадцати лет, с 1848 по 1861 год, а это дало возможность более крупномасштабно представить пути русской критики, включить «эстетический» триумвират (В. Боткин, П. Анненков, А. Дружинин), Ап. Григорьева, славянофилов — и отказаться от подробного анализа литераторов третьего ряда, от «Колбасиных и Вейнбергов». Диссертацию я защитил в 1967 году, автореферат и статьи по теме были одобрены Ю.Г.

А по отношению к докторской диссертации Лотмана оказалась очень существенной помощь Ю.Г. уже после защиты, при утверждении ее в ВАКе, где она без движения пролежала почти год. Пользуясь дружбой с Н.К. Гудзием, тогда председателем экспертной комиссии ВАКа, Ю.Г. несколько раз напоминал ему, и наконец были получены отзывы «черных», как тогда говорили, то есть тайных, рецензентов. Ю.Г. написал Лотману 21 апреля 1962 года:

**«Только что мне позвонил Н.К. Гудзий о том, что экспертная комиссия утвердила вашу работу и передала свое решение в ВАК на предмет утверждения вас доктором филологических наук. Сердечно поздравляю вас с приближением к финишу. Оба отзыва о вас были исключительно благожелательны (один из них принадлежал П.Н. Беркову, другой — А.Н. Соколову). Но некий Овчаренко настаивал еще на одном отзыве, заявляя о своей неудовлетворенности вашей диссертацией. Поддержало его двое-трое молодцов из той же шайки, но после отповеди им Гудзия большинством голосов диссертация была утверждена. Все это — абсолютная тайна, а потому никто об этом до прохождения диссертации в ВАКе знать не должен (даже Егоров)».**

Разумеется, тайна под секретом дошла и до нас, а скоро было получено официальное извещение из президиума ВАКа, где принималось окончательное решение, как правило формально санкционировавшее результаты голосования в экспертной комиссии.

Ю.Г. в 1960-х годах стал как бы негласным куратором и советчиком нашей творческой жизни. Он принял активное участие в обсуждении тематики предполагавшейся в 1963 году тартуской всесоюзной конференции по декабризму. Идея принадлежала Лотману; он писал к Ю.Г. в начале ноября 1962 года:

«Как Вы, вероятно, помните, я уже давно зову и заманиваю Вас приехать отдохнуть в Тарту. Сейчас этому намечается и реальный предлог: весной этого (то есть 1963) года мы собираемся провести в Тарту научную межвузовскую конференцию по декабризму. Предполагаемая тематика: *"Тактика и этика в движении декабристов"*. Хотелось бы обсудить довольно широкий круг вопросов, связанных с эволюцией тактических средств и нравственных представлений в декабристском движении, проблемы и более широкого характера: о моральной стороне средств в революционном движении. Мне давно кажется, что так называемая "ограниченность" декабристов — не только ограниченность, но и, порой, весьма глубокое проникновение в сущность вопроса: здравое представление о том, что есть границы допустимых средств и что политическая нравственность — не звук пустой. Все это мысли попутные, но думаю, что и без них обсуждение таких вопросов, как связь художественного развития и эволюции тактики и др., может быть интересным. Мне очень хотелось бы, чтобы Вы согласились войти в оргкомитет (другие члены: я, Егоров, Исаков, Пугачев, хотим пригласить еще Окуня и, может быть, Базанова — это уступка Пугачеву). Конференцию я хотел бы поставить широко (в научном смысле) — одно заседание специально посвятить эволюции тактических средств в революционном движении на Западе. Доклад "*Тактика и мораль в эпоху якобинской диктатуры*" есть — это В.С. Алексеев-Попов из Одессы — человек умный, образованный и в высшей степени милый. По польскому революционному движению докладчик тоже намечается. Очень хотелось бы найти специалиста по Испанской революции. Как Вам кажется весь этот замысел? Привлекает ли он Вас? Согласились ли бы Вы принять участие и в каких формах? Предполагаемое время конференции — май, когда в Тарту очень хорошо. Думаю, что все может пройти хорошо, без казенщины».

Ю.Г. живо откликнулся 24 ноября:

«Все, что вы думаете о конференции в Тарту, меня очень радует. Я готов принять в ней самое активное участие. Доклад мой будет посвящен "белым пятнам в политической и литературной биографии Рылеева" (и этика, и так-

**тика будут иметь в этом доклада основное звучание). Я поддерживаю включение в оргкомитет В.Г. Базанова, а в число приглашаемых прошу включить Т.И. Усакину (Саратов) и Г.А. Колесникова (Ростовский университет)».**

Характерна эта забота об учениках: Ю.Г. старался знакомить нас со своими учениками и младшими коллегами, как и мы, в свою очередь, неоднократно просили Ю.Г. оказать содействие нашим студентам. Приведу для примера абзац из письма Лотмана к Ю.Г. от 7 апреля 1966 года: **«Податель сего письма — мой студент Арсений Борисович Рогинский — способный и толковый молодой человек, занимающийся Полтавской ложей, М. Новиковым и масонством 1810–1820-х годов. Было бы очень хорошо, если бы Вы смогли уделить ему несколько минут».** Ю.Г. ответил 28 апреля: **«Я с удовольствием поговорил два раза со студентом, которого вы мне рекомендовали. Был у меня и другой ваш ученик, очень энергичный исследователь и собиратель — Г. Суперфин».** К сожалению, по разным причинам конференция по декабризму тогда не состоялась. Одна из причин — целая вереница болезней Ю.Г., отправлявших его то в московские больницы, то в южные санатории. Из-за этих болезней Ю.Г. так и не удалось посетить Тарту. Он не смог приехать на Блоковскую конференцию 1962 года, на которую он буквально рвался, на Карамзинскую в 1966 года (где он намеревался выступить с сообщением «*Пушкин и "Записка о древней и новой России" Карамзина*», как он писал Лотману 22 сентября 1966 года) и на несколько других мероприятий, в том числе и на предполагавшиеся его лекции для преподавателей и студентов.

К чему Ю.Г. оказался совершенно равнодушным, это — к нашим занятиям структурализмом и семиотикой. 18 августа 1964 года я писал ему об открытии первой Летней школы по семиотике: **«завтра качу в Тарту, вернее — в южную Эстонию, где Ю.М. Лотман организует всесоюзный симпозиум по семиотике, которая сейчас бурно развивается, соревнуясь с кибернетикой (Вы не антисемиот?!)».** Наверное, Ю.Г. не принадлежал к ярым антисемиотам, но не стал и сторонником. Ни разу эта тема не появилась в его письмах к нам. А косвенное раздражение можно увидеть в его новогоднем письме к Минц и Лотману от 30 декабря 1968 года: **«Желаю новых книг, новых хороших статей, интересных конференций и дискуссий. Не сочувствую только симпозиумам. Под этой маркой с некоторого времени начинают выступать явные подонки. Впрочем, опаснее подонки**

**не совсем явные»**. Конечно, здесь речь идет об официозных московских симпозиумах, но косвенно как бы задеваются и тартуские симпозиумы, и ленинградские — по комплексному изучению художественного творчества.

В 1967 году Лотман попытался не просто пригласить Ю.Г. на конференцию или спецкурс, а вообще сделать его тартуским жителем, то есть осуществить замысел еще 1952 года о переводе Ю.Г. в Тартуский университет. Теперь уже не надо было никакого перевода: в 1964 году Ю.Г. *«за связи с иностранцами»* и за откровенные устные и письменные высказывания против рецидивов сталинского тоталитаризма в культурной жизни страны был изгнан из Института мировой литературы в Москве, его имя стало почти запретным, оно вычеркивалось цензурой в новых научных публикациях. Однако сотрудники Горьковского университета, заведующие кафедрами русской литературы Г.В. Краснов и истории СССР В. В. Пугачев, имели смелость пригласить Ю.Г. на постоянную работу, и с 1965 года он стал профессором Горьковского университета. Лотман же мечтал «переманить» Ю.Г. в Тарту. Вот его письмо к Ю.Г. от 23 ноября 1967 года:

> «Хочу побеспокоить Вас, чтобы поделиться с Вами одним планом, который, возможно, покажется Вам странным или трудновыполнимым. Все же прошу его обдумать. Дело в том, что один из членов нашей кафедры — П.С. Рейфман — с 1 декабря на два года уходит в докторантуру. Таким образом на кафедре образуется на два года полная ставка. У нас есть кое-какие кандидаты, но все же, в первую очередь, мне пришло в голову предложить это место Вам (место до сих пор было доцентское, но я не сомневаюсь, что для Вас мы бы смогли превратить его в профессорское). Мы бы Вас не перегрузили — Вам можно было бы дать кое-какие спецкурсы и курс журналистики. Если бы Вы могли приезжать в Тарту два раза в год (учебный), каждый раз на месяц–полтора, это был бы максимум. Павел Семенович Рейфман читал середину XIX века и журналистику. Это можно было бы заменить разного типа комбинациями, о которых мы, бесспорно, договорились бы. Возможно ли это? Я, со своей стороны, вел предварительные переговоры с ректором и получил согласие».

Характерна и смелость нашего ректора Ф.Д. Клемента: Лотман откровенно рассказал ему о судьбе ученого. Но Ю.Г. и на этот раз предпочел близкий к Москве Горький, куда можно было

ездить всего несколько недель в году. Опять переезд в Тарту не состоялся.

Несмотря на физические немощи и политические гонения, Ю.Г. постоянно следил за нашими научными делами, радовался, как и мы, начавшемуся регулярному выходу в свет кафедральных ученых записок. На присылку каждого такого тома он откликался подробными письмами. Вот, например, его отзыв из письма ко мне от 12 декабря 1963 года:

«Занялся присланным вами шестым томом *"Трудов по русской и славянской филологии"*, выпускаемых с таким блеском коллективом тартуских литературоведов. Вашу статью о В.П. Боткине и биобиблиографические материалы о нем прочел с особым интересом. Много полезного извлек, конечно, и для своей ближайшей работы о Белинском, и для будущего (второго. — *Б.Е.*) издания *"Летописи"* (жизни и творчества В.Г. Белинского. — *Б.Е.*), если до него дадут мне дожить. Много дают и ваши новые материалы об А. Григорьеве из архива Н.Н. Страхова. Очень умны и содержательны воспоминания В.Т. Адамса, полезны материалы об Е.Г. Полонской (к лирике ее я относился всегда несерьезно, но, может быть, я не совсем прав). Каждая новая работа З.Г. Минц повышает мое уважение к ней. Кстати сказать, на днях получил письмо от Ф. Рива, с откликом на ее рецензию на его книгу о Блоке. Он очень почтительно говорит о З.Г. и ее позициях (я ей перешлю выписку об этом)».

Приведу еще замечательный отзыв Ю.Г. — со включением воспоминаний — о восьмом томе «*Трудов по русской и славянской филологии*» (из письма к Минц от 20 сентября 1965 года):

«Дорогая Зара Григорьевна, получение очередного тома *"Трудов по русской и славянской филологии"* для меня всегда праздник. Я бросаю все дела и погружаюсь в чтение, попутно отмечая на листочках всякие полезные для моих собственных работ справки и соображения. Пока я только проштудировал часть статей, остальное внимательно перечитал, восхищаясь и авторской, и редакторской работой членов вашей кафедры. Очень хорошо почтили вы память М.А. Сергеева. Я знал его в пору 1923–1935 гг., но очень смутное имел представление о дальнейшем развороте (и повороте) его деятельности. Он очень много сделал в пору нэпа для поддержки наиболее культурных частных издательств в Петрограде, широко их субсидируя (*"Былое"*, *"Атеней"*, *"Время"* и т. п.). Помню, как яростно он доказывал наличие плагиата в первом томе *"Тихого Дона"*, несмотря на то, что эти подо-

зрения существенно расходились с позицией "вышестоящих товарищей". Думаю, что в архиве М.А. Сергеева должны быть ценные материалы об этой истории. Только один раз я довольно резко столкнулся с М.А., когда мне пришлось быть одним из экспертов по вопросу о подлинности записок (дневника. — *Б.Е.*) А.А. Вырубовой, которые М.А. приобрел для *"Минувших дней"*. Это была очень квалифицированная "липа", автором которой являлась журналистка Брошниовская. В свое время я очень гордился тем, что категорически отверг подлинность записок Вырубовой, хотя мне и было неприятно бороться по этому поводу с М.А. С. Когда я читал примечания к воспоминаниям М.А. Сергеева о Горьком, я не мог не сожалеть, что *"Записные книжки"* А. Блока комментированы не вами. Ваша работа исключительно богата точными сведениями по одному из наименее изученных участков советской эры — люди, книги, журналы, факты политического и культурного быта 1918–1925 гг. проясняются с редкой точностью и тактом. Увы, примечания В.Н. Орлова на этот раз поражают своей бессодержательностью. Блистательны работы Юрия Михайловича и Б.Ф. Егорова. Очень свежи по своим наблюдениям и выводам статьи П.С. Рейфмана и С.Г. Исакова. Досадно только, что последний не учел очень умной и тонкой статьи Януша Генцеля *"Заметки о генезисе исторических рассказов А. Бестужева"* (Slavia orientalis. 1963. № 4). Очень прошу передать всем товарищам, подписавшим присланный мне замечательный сборник, мою сердечную благодарность. Очень мечтаю о том, как бы встретиться с ними возможно скорее в Тарту. Вчера навестили меня Виктория и Рене Сливовские. Мы много говорили о вас обоих и о вашей научно-исследовательской и научно-организационной деятельности в Тарту, который вам и вашим товарищам удалось превратить в один из мировых центров русской филологии».

Ю.Г. постоянно уделял большое внимание, так сказать, научной пропаганде зарубежных изданий и продукции отечественных провинциальных университетов, особенно — Саратовского, Горьковского и Тартуского. По его инициативе З.Г. Минц и тогдашний наш студент, будущий профессор, И.А. Чернов написали рецензию на монографию американского литературоведа Ф. Рива (F.D. Reeve) об Александре Блоке (Нью-Йорк; Лондон, 1962) и, опять же через Ю.Г., договорившегося с главным редактором В.Г. Базановым, опубликовали ее[45].

---

[45] Русская литература. 1963. № 3.

Несколько ранее я и Лотман написали рецензию на «*Ученые записки*» филологического факультета Саратовского университета (1957. Т. 56), посвященные проф. А.П. Скафтымову, послали Ю.Г. на апробацию, он первый вариант не одобрил, счел рецензию недостаточно глубокой и обстоятельной, мы переделали-доделали и с помощью Ю.Г. опубликовали ее[46].

В поле зрения Ю.Г. постоянно находились и тартуские «*Ученые записки*». Полагаю, что не без его инициативы появилась рецензия Н.В. Фридмана на первые шесть томов «*Трудов по русской и славянской филологии*»[47], о чем Ю.Г. тотчас написал мне 26 июня 1965 года:

«Прочел только что в *"Воплях"* обзор Н. Фридмана *"Работы тартуских литературоведов"* — и не мог не порадоваться, что то большое дело, которое вы с Ю.М. Лотманом так энергично и на таком высоком уровне осуществляете уже восьмой год в Тарту, завоевало внимание не только всей нашей передовой научной общественности, но и официальной печати. Н.В. Фридман — человек очень достойный, очень сведущий и порядочный, но несколько робкий, напуганный. Поэтому и голос его звучит несколько приглушенно. Впрочем, здесь немало постарались и все эти осетровы, путинцевы и владыкины, не очень уверенные, что тартуанцев можно хвалить полным голосом. Ведь руководство ИМЛИ (от Анисимова и Щербины до Самарина и Неупокоевой) смотрит на то, что делают молодые литературоведы в Тарту, с большой опаской. Кстати, вам вероятно известно, что обзор ваших сборников должен появиться скоро в *"Slavia orientalis"*. Мне писал об этом Рене Сливовский, автор этой статьи. Сейчас, конечно, нет сомнений, что Тарту занимает первое место (Ленинград не в счет, а Москва вне поля) в нашей университетской филологической науке. Саратов давно отстал, а Горький еще не нагнал (да и едва ли догонит!)».

В самом деле, большую обзорную статью обо всех наших тартуских изданиях Виктория и Рене Сливовские вскоре опубликовали в варшавском журнале «*Slavia orientalis*»[48].

---

[46] Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1959. № 6.

[47] Вопросы литературы. 1965. № 6.

[48] Slavia orientalis. 1965. № 2.

Ю.Г. и сам готов был активно сотрудничать в наших ученых записках. Тартуанцы к столетнему юбилею А.М. Горького (1968) готовили специальный посвященный ему том «*Трудов...*», который хотелось сделать нестандартным и свежим (он и вышел таковым в конце 1968 года 13-м выпуском). Среди тех участников, от которых мечталось получить интересные материалы, Ю.Г. был одним из первых. Минц, организатор Горьковского сборника, обратилась к Ю.Г. с просьбой, и он тотчас откликнулся в письме к ней от 24 апреля 1968 года:

> «Если бы я хоть немножко был здоровее, то, конечно, не заставил бы Вас повторять Вашей просьбы об участии в Горьковском сборнике, который затевается Вами. Но я еще очень хлипок и работать мне (особенно писать) совсем не легко. Обещал дать статейку (на основе одного письма А.М. в моем собрании) в *"Прометей"* (первый том его выходит около 10 мая), но до сих пор не сдал. Если все будет у меня благополучно, то попробую в конце мая или начале июня написать для Вашего сборника *"День в Горках"* — обсуждение плана юбилейных мероприятий, связанных со 100-летием гибели Пушкина, установлением новых форм организации Пушкинского Дома, учреждением Литературного Совета ПД (наряду с Ученым Советом) и т. п. Самое интересное в этих воспоминаниях — поименное обсуждение каждой кандидатуры в Совет, горьковские мотивировки "за" и "против" (А.М. выбросил А.А. Фадеева и очень смеялся, когда кто-то предложил Шолохова). Вечером я задавал Горькому вопросы (в том числе и об истории его дружбы с Буниным), а он объяснял некоторые из моих недоумений по поводу *"Самгина"*. Утром, прощаясь со мною и А.Н. Тихоновым, А.М. неожиданно швырнул в камин какую-то солидную рукопись, что-то буркнув при этом Тихонову. Когда я спросил последнего уже в машине, что это значит — он ответил: *"это воспоминания М.Ф. Андреевой о жизни на Капри"*. До этого эпизода я не подозревал о степени ненависти А.М. к любимой когда-то им женщине. Если бы мне удалось прочесть *"День в Горках"* Вам и Юрию Михайловичу, я бы охотнее взялся за отделку этих воспоминаний».

А в письме к Минц и Лотману от 21 июня 1968 года Ю.Г. предлагает тоже весьма интересные материалы: «Если Вы еще не отказались от мысли в следующем томе уделить место новым материалам о Горьком, то я с удовольствием приготовил бы для этого тома письма Горького Ф. Сологубу, Куприну, Брюсову и др.».

Но болезни, их лечение, особенно — глазная операция (письма июня-декабря 1968 года Ю.Г. уже не писал, а диктовал) не дали осуществиться этим планам. В письме к Минц и Лотману от 30 декабря 1968 года он благодарит за присылку «*Горьковского сборника*» («горько-эстонский», каламбурит Ю.Г.), который ему «очень понравился» (вероятно, ему читали книгу?), и с грустью добавляет: **«Мне было досадно, что в начале года не доделал своей работы над письмами Горького. (Неизвестные письма Брюсова, Сологуба, Куприна и пр.)»**. (Непонятно, ошибка писавшего текст, употребившего три родительных падежа вместо дательных, — или в самом деле Ю.Г. намеревался публиковать не только письма Горького к Брюсову, Сологубу, Куприну, но и их ответные.)

Увы, ничего из предлагавшегося Ю.Г. не успел оформить в виде очерков, воспоминаний, публикаций.

Более результативными были его приглашения нас к сотрудничеству в московских издательских сферах, ему подвластных, особенно в академической серии книг «*Литературные памятники*», в редколлегию которой Ю.Г. вошел в конце 1950-х годов. Он сразу же предложил Лотману подготовить для серии «*Письма русского путешественника*» Н.М. Карамзина (письмо ко мне от 23 июля 1959 года). Лотман благодарно принял эту идею, написал — правда, нескоро — заявку, но, во-первых, долго эту книгу подготавливал в соавторстве с Б.А. Успенским и Н.А. Марченко, а во-вторых, долго воевал с московским отделением издательства «*Наука*» из-за принципов орфографического и пунктуационного воспроизведения текстов XVIII века; наконец книга вышла в Ленинграде в 1984 году.

В письме к Лотману от 20 февраля 1960 года Ю.Г. предложил ему прислать заявку на издание дневников замечательного литератора и мыслителя начала XIX века Андрея Ивановича Тургенева, что Лотман, давно занимавшийся этим автором, и сделал. Но потом, в связи с желанием Ю.Г. и других членов редколлегии помочь безработному М.И. Гиллельсону, подавшему заявку на дневники брата, Александра Тургенева, было отдано предпочтение этой книге, издание же дневников и Александра, и Андрея представлялось неудобным при жестком объемном лимите серии.

В июне 1970 года, почти перед самой кончиной Ю.Г., Лотман послал ему заявки-предложения издать в серии «*Литературные памятники*» публицистику Карамзина, «*Путешествие из Петербурга*

*в Москву*» Радищева и заявку Минц на однотомник Вл. Соловьева. Ю.Г. ответил 7 июля, что по возвращении в Москву председателя редколлегии академика Н.И. Конрада передаст ему эти заявки; Ю.Г. был уверен в благополучном прохождении лишь заявки на Радищева. Так оно и получилось, заявки на публицистику Карамзина и на Соловьева утверждены не были; позднее Лотман, занятый другими трудами, не подготовил вовремя книгу Радищева, и ее издал в серии В.А. Западов.

Я предложил Ю.Г. для «*Литературных памятников*» книгу очерков В.П. Боткина «*Письма об Испании*», он в принципе одобрил, и я через Д.С. Лихачева в мае 1963 года передал в редколлегию серии заявку. Ю.Г. в то время был не в лучших отношениях с Н.И. Конрадом и потому не был уверен в утверждении, как он сообщил мне 26 июня 1965 года:

> **«Я не очень верю в успех вашей заявки на *"Письма об Испании"* Боткина. Наш шеф — Н.И. Конрад — человек очень капризный, не очень к тому же расположенный ко всему тому, что не является "шедевром мировой литературы". Старые заявки, отраженные в прежнем плане, как-то еще идут, а новые задерживаются или просто отклоняются. В.П. Волгин был человеком гораздо более широким».**

Ю.Г. оказался явно пристрастным к Конраду, тот тоже проявил широту, мою заявку утвердили на заседании редколлегии, книга вышла в 1976 году.

Когда в 1962 году я, по инициативе И.Г. Ямпольского, вошел в редколлегию «*Библиотеки поэта*» и стал заместителем главного редактора В.Н. Орлова, то в моих взаимоотношениях с Ю.Г. возник еще один сюжет. Ю.Г. уже несколько лет подготавливал для Большой серии полное собрание стихотворений К.Ф. Рылеева, пропустил все сроки подачи рукописи, и мне почти в каждом письме к нему приходилось об этом напоминать. Ю.Г. соглашался, что виноват, просил отсрочки, они ему давались, он снова затягивал, хотя и сообщал, тоже почти в каждом письме, что работа вот-вот будет завершена. Наконец в открытке от 12 декабря 1964 года он сообщил мне, что рукопись отправлена в издательство, что все готово, кроме статьи, которая тоже близится к завершению. Увы, работа затянулась, Ю.Г. одолевали болезни, к тому же его имя стало цензурно запретным, осторожнейший В.Н. Орлов

даже, наверное, был рад, что опальный литературовед не закончил книгу. Так и ушел Ю.Г. из жизни, не поставив последние точки... А в 1971 году Рылеева в Большой серии издал В.Г. Базанов, с помощью А.В. Архиповой и А.Е. Ходорова.

15 сентября 1970 года Ю.Г. скончался. Очень было больно. Он ведь был одним из самых близких к нам по научному методу, да и по человеческим качествам старших товарищей. Ни с кем из старших коллег мы не общались так интенсивно, устно и письменно, разве что с питерским Д.Е. Максимовым, но с Дмитрием Евгеньевичем больше всего дружила Минц, его ученица (как я дружил с С.А. Рейсером), а с Ю.Г. — вся кафедра, во главе с Лотманом и мною. Из письма Лотмана ко мне от 22 сентября 1970 года:

> «Вот с Юлианом уже не поговоришь! Очень я тяжело переношу его смерть. Был он и "лукавый царедворец", но я его все же очень любил. Много с ним ушло. Грустно. Я с ним говорил месяца полтора назад — был он уже маленький и худенький — даже страшно было. Говорил о смерти и завещании. А я не поддержал разговора из суеверия. Хотел ему написать в письме о его месте в науке — и пробирался. Ведь не верил, что он в самом деле умирает»[49] .

«Лукавый царедворец» здесь требует истолкования. Лотман преувеличил, лишь в отдельных случаях ради издательских и научных дел Ю.Г. мог смирить себя и лукаво выдвигать на первый план достоинства вельможи, впрочем — реальные; таково, например, было его отношение к противоречивому В.Г. Базанову. Как жаль, что Лотман не успел написать к Ю.Г. письмо о его месте в науке. Я пытался сделать нечто подобное в 1965 году, поздравляя 7 января Ю.Г. с его семидесятилетием:

> «Спасибо большое, дорогой Юлиан Григорьевич, за поздравление и пожелания — и я шлю таковые же Антонине Петровне и Вам, желаю Вам в Новом году здоровья, душевного спокойствия и новых трудов во всех сферах человеческой деятельности! И особенно, конечно, поздравляю Вас с предстоящим юбилеем! Это ведь не просто круглая дата, а большой, значительный этап в истории нашей науки, не говоря уже об этапности в Вашей жизни... Люди Вашего поколения прожили удивительную по разнообразию и перипе-

---

[49] *Лотман Ю.М.* Письма. 1940—1993 / Сост. Б.Ф. Егоров. М., 1997. С. 230.

тиям жизнь — иногда берут завидки, иногда кажется, что мы прожили бы ее (жизнь) иначе... Но нельзя быть утопистом, история железная вещь, не убавить, не прибавить. А так как — смею надеяться — мое поколение воспитано — среди других и Вашими трудами — в чувстве историзма, то историю принимаем без улучшения и без искажения, как она есть — а когда рассматриваешь историю исторически, то в первую очередь думаешь о традициях, о преемственности; хочется быть достойным истории, хочется быть достойным Вас. И в то же время не хочется, чтобы Вы становились только историей, хочется видеть Вас и дальше таким же живым, активным мыслью и делом, создающим новые труды во славу нашей науки — только очень хочется, чтобы Вы более спокойно, по-пушкински, относились ко всему, что, с Вашей точки зрения, мешает жить»

Но Ю.Г. не был похож на позднего Пушкина, слишком горячо относился к жизни, особенно же — к ее несправедливостям. Особенно был гневен по отношению к малограмотным ничтожествам, занимавшим высокие посты, и к людям науки, предавшим ее ради жизненных благ, и тут он был полной противоположностью «лукавым царедворцам», он губил себя откровенными разоблачениями и инвективами. Из письма к Минц и Лотману от конца декабря 1962 года:

«В последние недели я несколько раз пытался использовать идущие отчетные заседания в ИМЛИ, в ОЛЯ (в Отделении литературы и языка Академии наук. — *Б.Е.*) и даже в ССП (Союзе советских писателей. — *Б.Е*) для откровенных высказываний о причинах затянувшегося кризиса советского литературоведения. В числе этих причин я открыто назвал "невежественных фашистов", засевших в аппарате АН, и руководителей "типа Благого", боровшихся не за научную истину, а за сталинские премии, квартиры, дачи, машины и ордена. Представляете, какой шум поднялся во всех клоповниках!»

Еще цитата из письма Ю.Г. к Лотману от 8 марта 1962 года: «Я.Е. Эльсберг единогласно исключен из ССП (он обжаловал это исключение, оформленное в Московском отделении Союза, обратившись в Секретариат Союза), но Лесючевский, Ермилов, Самарин не тронуты, хотя об их злодеяниях вопиют камни». На это письмо Лотман ответил с грустным юмором 20 марта: «Относительно Эльсберга — боюсь, что выплывет, он ведь из нетонущих материалов».

Не менее колоритны инвективы Ю.Г. в письмах ко мне. Вот его характеристика директора ИМЛИ И.И. Анисимова (из письма от 26 июня 1965 года): **«Из всех наших литературоведческих гангстеров это самый влиятельный и агрессивный. Он не очень склонен был размениваться на мелочи, играл роль барина и белоручки, но свою линию гнул неуклонно»**. Памфлетные заметки Ю.Г. «*Иван Анисимов*» (25 июня 1965 года — за день до письма ко мне) и «*Памяти одного псевдонаучного гангстера*» (1966) хранятся в его архиве[50] .

Из письма ко мне от 20 ноября 1967 года: **«Опять отличился один из ваших оппонентов** (по докторской диссертации. — *Б.Е.*) — **имею в виду Сеньку Машинского. Этот пустослов в еврейско-местечковом вкусе объявил бесстыдного карьериста, стукача и бездарного холуя Путинцева лидером советского литературоведения и человеком высшего духовного изящества. Вся Москва веселится по этому поводу»**.

Письма подозрительного для начальства Ю.Г., конечно, перлюстрировались, да он и не ограничивался письмами, открыто говорил, что наболело на душе. Можно представить, как ненавидели его те, кого он презирал и ненавидел, и как они злорадствовали, когда в 1964 году с помощью КГБ удалось прицепиться к его «антисоветскому» поведению и изгнать его не только из ИМЛИ, но и как бы из научной жизни. Слава Богу, что в России постановления редко доводятся до реализации, щелочки остались, Оксман смог и трудиться в «*Литературных памятниках*», и преподавать в Горьковском университете.

Было тяжело чувствовать свое бессилие — как мало нам, тартуанцам, удалось помочь большому ученому! Единственная наша попытка «казенного» мероприятия — идея выдвинуть Ю.Г. в члены-корреспонденты Академии наук, а Тартускому университету поддержать выдвижение — не вызвала одобрения Ю.Г. В письме к Лотману от 28 мая 1962 года он благодарил нас за внимание, но считал, что для такого дела нужна основательная московская подготовка, лучше отложить до следующего года. Но в следующем году уже начали сгущаться тучи, идея не осуществилась.

Тучи потом сгустились до полного запрета печатно упоминать имя Ю.Г., и нам так и не удалось поместить в тартуских «*Ученых записках*» некролог и библиографию трудов Ю.Г., лю-

---

[50] *Марк Азадовский, Юлиан Оксман.* Переписка. С. 298.

безно предоставленную Лотману К.П. Богаевской. Лишь за рубежом выдающийся американский славист В. Эджертон опубликовал некролог с библиографией[51].

Настоящую статью-публикацию я воспринимаю как запоздалую дань памяти выдающегося ученого и не менее выдающегося человека — Ю.Г. Оксмана.

## ЯША И ЯКОВ СЕМЕНОВИЧ

Я познакомился с Я.С. Билинкисом в 1950 году, и потом мы рядом лично и семьями прошли эти бурные полстолетия. Есть о чем вспомнить, о чем порадоваться и погоревать. Постараюсь не очень подробно рассказать о наших многолетних контактах и о человеческих качествах Якова Семеновича, как они мне представляются: естественно, в таких характеристиках не избежать субъективных пристрастий, но все-таки внутренне я буду стремиться к максимальной объективности. И хотя Яков Семенович всегда, с самых первых минут нашего знакомства, был для меня Яшей, я буду далее его называть «Я.С.».

Внешняя, так сказать, «анкетная» канва наших отношений такова. В 1950 году Я.С. поступил в аспирантуру Ленинградского пединститута им. М.Н. Покровского (кажется, тогда имя историка уже убрали, институт был просто педагогическим — но его не следует путать с институтом им. А.И. Герцена, с которым потом его слили), а я уже год назад стал аспирантом кафедры русской литературы.

При густой антисемитской атмосфере, царившей в стране, поступление в аспирантуру еврея выглядело чудом (ведь именно в 1950 году никакие хлопоты профессоров кафедры русской литературы Ленинградского университета не смогли помочь Ю.М. Лотману стать аспирантом в «альма матер»). Это чудо создали актив-

---

[51] *Edgerton W.*B. Julian Grigor'evič Oksman, 1895—1970 // Russian Literature. 5. The Hague: Mouton, 1973. P. 5—34. Позднее Л. Флейшман представил более полную биографию Ю.Г. См.: *Флейшман Л.* Из архива Гуверовского института. Письма Ю.Г. Оксмана к Г.П. Струве // Stanford Slavic Studies. Vol. 1. Stanford, 1987. P. 15—17.

## ГЕОРГИЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ МАКОГОНЕНКО КАК РАССКАЗЧИК

О Г.П. (так буду именовать его для краткости) как об ученом, педагоге, человеке напишут более близкие к нему. А я хочу закрепить в исторической памяти два рассказа Г.П. Может быть, они уже и другими слушателями зафиксированы, но, как говорится, истина от повторения не бледнеет.

Рассказчик Г.П. был превосходный. Вообще артистический талант ему был органически присущ. Красивые манипуляции с сигарой во время ведения заседаний кафедры; умение мужским обаянием — меховая шапка сдвинутая на затылок, лицо в игривой улыбке — добыть у дежурной по аэропорту немыслимые места на самолет и т. д. И рассказывал артистически.

Итак, два сюжета, заслушанные во время кафедральных застолий, где Г.П. был не только бессменным тамадой, но и занимательным повествователем.

Первый рассказ о себе, о блокаде, о командировке на «Большую землю» через Ладожское озеро. Ехал с другими на грузовичке, на нашей российской полуторке. Ледовая трасса была вся в выбоинах, шли непрерывные обстрелы и бомбардировки Дороги жизни. И сплошь полыньи, которые были очень коварные в лютую зиму: мороз сразу же после взрыва сковывал «прорубь», но лед был тонкий, опасный. Часто машины ухали в такую полынью, попался и грузовичок Г.П., который так быстро нырнул, что никто не успел выплыть, кроме сидевшего сзади в кузове Г.П.: он тоже окунулся, но в крошеве льдин успел схватиться за толстый край и вылез. Одежда мгновенно заколодила — морозы были в 25–30 градусов. Г.П. оказался как бы в ледовом скафандре, сплошном, без всяких сочленений.

Что делать? Мороз, тишина, ни души вокруг. Г.П. попытался, не сгибая колени и помогая поворотами туловища, двигаться, но через несколько шагов обессилел и упал. И уже было не подняться в таком скафандре. Решил, что пришел конец, придется замерзнуть на льду. Закрыл глаза и стал прощаться с жизнью. Вдруг — голос. Какой-то военный, пеший (может быть, тоже спасшийся?), увидел, что человек лежит еще живой, и начал браниться — нельзя сдаваться! Он перевернул Г.П. на спину и стал ломать скафандр: сильными движениями (известное упражне-

ние «велосипед») он так разработал ноги Г.П., что лед в коленях и бедрах поломался, и ноги получили возможность двигаться. Военный помог Г. П. встать и сделать первые шаги. Можно было идти! Военный знал направление и вывел Г.П. на спасительный берег. Слава Богу, до восточного берега Ладожского озера оставалось не так много километров. Так незнакомый путник спас Г.П. жизнь — просто и буднично.

А потом Г.П. как бы попал в праздничный, райский мир. На берегу озера — палатки походного госпиталя. Там Г.П. разрезали всю одежду, растерли его снегом, переодели в чистое белье, дали миску густой каши и целый стакан спирта, уложили в чистую постель, в палатке полыхал огонь в раскаленной буржуйке, было тепло. Г.П. выразительно рассказывал о блаженном состоянии немедленного погружения в глубокий сон. Но война не могла дать длительного счастья. Как будто через несколько секунд — хотя реально проспал несколько часов — раздался сильный взрыв и затряслась земля. Г.П. открыл глаза — над ним не брезент палатки, а звезды на предутреннем небе. Где-то рядом был сильный разрыв бомбы или снаряда, и весь брезент смело воздушной волной... Всех раненых и больных начали перевозить в другие помещения, начинались трудовые прифронтовые будни...

Второй рассказ Г.П. не о себе, а о генерале Соловьеве, начальнике ленинградской милиции в первые послевоенные годы. В хрущевское время он стал пенсионером и решил на досуге сохранить для потомков яркие события, которых он был свидетелем, а иногда и творцом; события стоили по занимательности приключений Шерлока Холмса и Ната Пинкертона. Генерал, видимо не доверявший своим литературным талантам, обратился за помощью к Юрию Герману, который дружил со многими сотрудниками милиции, в том числе и с питерским начальником. А Ю. Герман, в свою очередь, когда книга мемуарных очерков была создана, обратился за поддержкой к Г.П., который тогда был свой человек в главных ленинградских издательствах. Г.П. характеризовал книгу как несомненный бестселлер, если бы ее удалось издать. Для примера он рассказал сюжет одного из очерков Соловьева.

После Отечественной войны в Ленинграде славился вещевой рынок, знаменитая барахолка за Обводным каналом, которая по грандиозным размерам могла соперничать с ташкентской бара-

холкой военного времени. Не только по размерам, но и по колоритному разнообразию, по контрастам, от убогих вещичек бедных старушек до чуть ли не миллионных афер крупных жуликов. Конечно, такая барахолка всегда была хорошим питомником для всякой криминальщины. Соловьев следил за этим участком, посылал туда не только официальных стражей порядка в форменной одежде, но и соглядатаев в штатском, помогавших вылавливать воров и надувателей, а заодно следивших и за стражами.

И вот Соловьев получает уже несколько сигналов: бравый сержант милиции, дежуривший у входа в рынок, берет взятки! А Соловьев любил, как некоторые литературные монархи, переодеваться в простое платье и ходить по родному городу, выслеживая нарушения.

Одевается генерал в простой ватничек, делает из каких-то тряпок большущий пакет, оставляет за несколько кварталов машину и идет на рынок. Пытается, якобы пугаясь, проскочить мимо сержанта со своим странным пакетом, но у того глаз наметанный: «*Гражданин, что у вас в свертке?*» — «*Сержант,* — тихо и доверительно говорит Соловьев, — *зайдем в шалман*». А у входа на рынок — пивная, советский трактир. Соловьев спрашивает у трактирщика два стакана водки с какой-то закуской, выпивает с сержантом за знакомство, расплачивается, а потом отводит сержанта в укромный уголок и показывает ему свое генеральское удостоверение. Сержант отпрянул, челюсть у него отвисла от удивления и страха, но ничего уже не поделаешь! Генерал ведет его к своей машине, привозит на Дворцовую площадь, в городское управление, созывает всех своих помощников и, демонстрируя сержанта в качестве наглядного пособия, начинает распекать заместителей и вообще кадровую политику в ленинградской милиции: «*Кто у нас работает?! Сержант с первым попавшимся человеком идет выпивать во время дежурства...*» и т. д. Кончил тираду и обратился к виновнику: «*Что можешь сказать в свое оправдание, сержант?*» — «*Все правильно, товарищ генерал, но только я не выпивал*». — «*Что-о-о-о?!*» — «*Честное слово, я не пил*». В ярости генерал требует немедленного «гаишного» анализа. Тут же повели сержанта в лабораторию, через несколько минут приходят смущенные лаборанты и сообщают, что сержант абсолютно трезв. Соловьев еще более накаляется, идет сам смотреть проверку... и вынужден согласиться, что сержант не пил!

Пришлось удивляться уже генералу. Он отпустил всех своих заместителей, остался в кабинете наедине с сержантом и, потрясенный, снова доверительно-заговорщицки обратился к виновнику события: «*Слушай, сержант! Даю тебе честное генеральское слово, тебе ничего не будет, если ты скажешь правду, как это тебе удается: ведь ты на моих глазах выпил стакан водки!*» — «*Да очень просто, товарищ генерал* (так и хочется сказать: «*Элементарно, Ватсон*»). *Ведь если бы я пил с каждым, то не то что к вечеру, а к обеду я уже на ногах не стоял бы. А у меня уговор с Васькой: он мне заранее готовит стакан с водой и незаметно для соседа именно его подает; вечером мы делим выручку пополам*». Генерал отпустил сержанта...

К сожалению, усилия Ю. Германа и Г.П. были напрасными: ни при какой советской погоде подобные очерки не могли быть напечатаны...

## ЛЮДИ, НЕЛЮДИ И ПОЛУЛЮДИ

Ефиму Григорьевичу Эткинду (далее я буду употреблять сокращенное Е.Г.) не был присущ тяжелый характер, но писать о его судьбе тяжело. И потому тяжело, что жизнь его не была легкой, и из-за непрекращающейся еще душевной скорби по поводу его неожиданной кончины. Но писать нужно. История должна знать, что российский XX век вытворял со своими гражданами. Особенно вытворял, если они обладали живой, талантливой, активной, честной, открытой, во все вникающей натурой. Такая натура полностью противоположна характеру, который очень удобен для любого деспотического строя и который можно кратко определить инфинитивами «не возникать» и «не высовываться».

На первом скандально крупном «высовывании» Е.Г. я с ним и познакомился. В 1960-х годах я имел честь быть по совместительству с основной (преподавательской) работой заместителем главного редактора «*Библиотеки поэта*» В.Н. Орлова. Знающий, любящий поэзию, эстетствующий в душе Владимир Николаевич был достаточно циничным советским чиновником, готовым и на компромиссы, и на печатное очернение деятелей Серебряного века ради противопоставления им и публикации произведений обожаемого А. Блока. На волне хрущевской оттепели ему

о «*Слове о полку Игореве*». Любопытны и некоторые его человеческие свойства, случайно узнанные мною.

В 1989 году я, ранее невыездной, наконец получил возможность бывать за рубежом — приглашение на этот раз не «зарубили», и я целый семестр преподавал в столице США, в университете им. Дж. Вашингтона. После одной поздней вечеринки у русских эмигрантов я был любезно доставлен до дому известным писателем В.П. Аксеновым, имевшим собственный автомобиль. Путь был долог, с одного конца города до другого, и в числе разных разговорных тем неожиданно возникла и биографическая. «*Вы ведь знаете сотрудников Пушкинского Дома?*» — спросил меня хозяин машины. — «*Конечно, очень многих. А кто Вас интересует?*» — «*Знаете ли Вы Федора Яковлевича Прийму?*» Я как-то легонько хмыкнул и подтвердил свое знание. — «*Вы, кажется, улыбнулись?*» — заметил Аксенов. — «*Да, уж очень Прийма заметная фигура благодаря своей одиозности*». — «*Правда? Вот уж не мог предположить... Он ведь мне приходится как бы дядей: он был женат на сестре моей матери*». — «*Что?!*» — поразился я и извинился за оценку дядюшки. — «*Но ведь, насколько я знаю, ваша мама — еврейка, стало быть, Прийма, один из самых заметных пушкинодомских антисемитов, был женат на еврейке?!*» Выяснилось, что именно так. И когда Аксенов учился в Ленинградском медицинском институте, он много времени проводил в семье тетки, Прийма постоянно помогал ему материально, покупал одежду и т. д. Впоследствии «дядя» развелся с женой, но все-таки рассказанное Аксеновым демонстрирует, как мы односторонне и прямолинейно судим о людях.

Прийма, оказывается, в личной жизни мог быть совсем другой!

## СЫН ПРОФЕССОРА И АРТИСТКИ (ОЧЕРК О У.Р. ФОХТЕ)

В марте 2002 года исполнилось сто лет со дня рождения одной из самых незаурядных личностей советской поры — доктора филологических наук, профессора Ульриха Рихардовича Фохта. К сожалению, эта дата оказалась почти незамеченной: я не видел ни одной юбилейной статьи. Слава Богу, коллеги Фохта по отделу классической русской литературы Института мировой литературы

(ИМЛИ) РАН провели 28 мая 2002 года заседание, посвященное юбилею; отчет о нем содержательно составил А.М. Гуревич[72].

Коллеги и ученики единодушно отмечали заслуги Фохта как ученого и педагога (помимо многолетнего преподавания в вузах он непосредственно воспитал сорок аспирантов, защитивших свои диссертации). Заведующая отделом Л.Д. Опульская особо отметила решающую роль ученого в создании фундаментальных многотомных трудов ИМЛИ «*История русской литературы*» и «*Развитие русского реализма*». А.П. Чудаков связал научные успехи юбиляра с некоторыми психологическими его свойствами, отметив

> «равнодушие У.Р. Фохта не только к званиям и должностям, но даже к количеству опубликованных им научных трудов. Его волновал <...> сам процесс рождения научной мысли, борьба и столкновение мнений — в любых формах, будь то книга, статья, рецензия, выступление на конференции, научном заседании, обсуждение чьей-то работы, просто частная беседа с коллегами, разговор со студентом, аспирантом и т. п. Недаром его так любили и ценили ученые самых разных направлений и школ (среди них и Ю.М. Лотман). У.Р. Фохт был в науке личностью, а это всегда большая редкость».

Ю.В. Манн выделил тягу Фохта к свежим научным веяниям: «Человек широких взглядов, он всегда интересовался новыми научными идеями, ценил и поддерживал Ю.М. Лотмана, Б.Ф. Егорова, Б.О. Кормана, стремился помочь им словом и делом». Немало он сделал и для самого Ю.В. Манна.

А самую крупномасштабную характеристику Фохта дал на том заседании П.А. Николаев, подчеркнув как доминанту устремленность Фохта к зарождающемуся, к будущему, а в этом «и состояла драма крупного ученого, которому тесно было в рамках современной ему науки и который стремился выйти за ее пределы — к общим проблемам культуры. Драматичность этого устремления разрешалась выходом в жизнь, полнокровную и многоликую живую жизнь».

Да, нельзя предать забвению облик такого человека. В предлагаемом очерке мне больше всего хочется рассказать именно о связях Фохта с «живой жизнью». Я двенадцать лет имел честь и

---

[72] Известия Академии наук (Серия литературы и языка). 2002. № 5. С. 77—78.

счастье дружить с ним, мы даже перешли на «ты». Долго я не мог освоиться с таким обращением, все переходил на «вы», ведь разница в возрасте — почти четверть века! Но он настаивал, и я в конце концов привык. Только тогда я понял, наконец, ненужность своего давнего удивления, когда в 1960-х годах слышал при еще более крупном интервале лет диалог на «ты» между Р.О. Якобсоном и Вяч. Вс. Ивановым.

Познакомился я с Фохтом в 1967 году в городе Горьком, то есть в Нижнем Новгороде, будучи приглашенным оппонировать в университете кандидатскую диссертацию о графе Вл. Соллогубе тогда совсем еще юного В.А. Грехнева, потом известного профессора-пушкиниста (увы, недавно скончавшегося). Фохт поразил меня тогда ярким и умным оппонентским выступлением без всяких шпаргалок и официального текста на бумаге, а университетскую молодежь женского пола потряс неумеренным употреблением спиртного и при том лихим отплясыванием на традиционном «шмаусе» после защиты.

А потом Ульрих Рихардович удивил весь Горьковский университет неприсылкой письменного отзыва о диссертации. Он уверенно и горячо обещал и защитившемуся Грехневу, и секретарю Ученого совета быстро написать и выслать текст по возвращении в Москву. Те легкомысленно поверили. Когда прошел месяц после защиты, Фохту отправили письменное напоминание, затем повторявшееся неоднократно. Участились и телефонные звонки — нижегородцы умоляли немедленно прислать отзыв: ведь документы лежали в университете, их нельзя было послать в ВАК без отзыва главного оппонента. Отчаянные обращения вызывали искренние извинения и обещания... Через полгода после защиты ректор университета объявил в приказе выговор секретарю Ученого совета за немыслимое затягивание сбора документов. Бедняга Грехнев поехал в Москву и, чуть ли не с утра высиживая дома у профессора, наконец добился через несколько дней нескольких страниц отзыва...

Да, увы, талантливый ученый и педагог не отличался собранностью и аккуратностью, он мог годами не выполнять полагающийся в академическом Институте мировой литературы план научной работы. Начальство держало его, зная его выдающуюся способность снабжать интересными идеями коллег, аспирантов, подготовителей симпозиумов. Директор института

Б.Л. Сучков прямо говорил, что Фохта надо сохранять как бродильное начало. При всеобщих отчетах в конце календарных годов Ульрих Рихардович виртуозно выкручивался, придумывая фантастические объяснения — почему именно не успел положить на стол запланированные печатные листы трудов праведных. По институту и даже по всей Москве долго ходил анекдот о его претензии к Д.Д. Благому. У того, к сожалению, сгорела дача — и там, утверждал ученый, погибла вся готовая рукопись плановой работы. Фохт потом набросился на коллегу: ну, что бы ему сказать, что и рукопись Фохта, данная на прочтение, тоже сгорела!

Ульрих Рихардович все-таки оставил по себе и письменную, то есть печатную память. Теоретик божьей милостью, он, занимаясь в историческом плане, главным образом, Пушкиным и Лермонтовым, больше всего интересовался теоретическими выводами из историко-литературных штудий, поэтому основные темы его книг и статей — методы писателей XIX века (романтизм и реализм), типология разновидностей методов, внутренние законы литературы, методология современных литературоведов. Отмечу в первую очередь его книги: «*Пути русского реализма*» (1963); «*Лермонтов. Логика творчества*» (1975) — и главные статьи: «*Внутренние закономерности историко-литературного развития*» (1959); «*"Отражение", "изображение", "выражение" как термины литературоведения*» (1963); «*Некоторые вопросы теории романтизма*» (1967); «*Типологические разновидности русского реализма*» (1969). Значительна также его роль научного редактора (см., в частности, отмеченные Л.Д. Опульской многотомные труды ИМЛИ). Работая в вузах, Фохт историко-литературные курсы лекций, как вспоминают его слушатели, тоже читал с теоретическим уклоном, стремясь объяснить обилие фактов общими закономерностями общественного и художественного развития.

Ученик В.Ф. Переверзева, Фохт в молодые годы отдал дань вульгарному социологизму, потом выкарабкивался из жестких схем, но некоторая концептуальная схематичность осталась у него навсегда. А по-человечески он навсегда остался признательным учителю и болезненно переживал, что ни он, ни другие ученики не выступили в защиту Переверзева, когда его на грани 1920–1930-х годов начали сильно клевать «марксистские» заправилы вроде В.В. Ермилова (не столько марксистские, сколько лакей-

ские: выражали новые веяния в гуманитарных науках, устанавливаемые Сталиным). Остроумный мастер каламбуров (ему принадлежит известный термин «интертрепация»), Фохт называл себя и свое окружение ранних лет: «*Все мы были переверзавцы*».

Интереснее, чем в печатных трудах, тем более что тогда приходилось работать в условиях советской цензуры, Ульрих Рихардович раскрывался в устных разговорах. Впрочем, в них было больше не научно-проблемного, а психологического-бытового и воспоминательного. История своей жизни, рассказы о встречах, о поездках в Германию (его, как советского немца, часто посылали в ГДР с лекциями и консультациями), история нашей науки «древне-советского» периода. В 1923 году Фохт окончил Нежинский институт народного образования, то есть, говоря нормально, — педагогический, но у нас ведь всегда все переименовывали и переделывали. Вскоре молодой выпускник института перебрался в Москву, и вся дальнейшая его жизнь протекла в столице. Он много преподавал в московских пединститутах (имени В.И. Ленина, областном имени Н.К. Крупской), с 1955 года и до кончины укрепился в ИМЛИ.

Много рассказывал Фохт о жизни в Германии, которая даже в «социалистическом» варианте на Востоке страны существенно отличалась от нашей. Рассказывал о своих амурных приключениях с запоминающимися подробностями (например, «у всех немок ноги волосатые, как у мужчин»), об интересных чертах немецкого менталитета. Например, о легком конфузе при знакомстве с берлинским коллегой, к которому Фохт обратился со словами «*геноссэ* (то есть товарищ) *профессор*»; тот его вежливо поправил, что он не геноссэ, а хэрр, то есть господин. Фохт решил, что он его оскорбил, назвав советским или фашистским термином, и начал горячо извиняться, но профессор разъяснил, что суть совсем другая: геноссэ — принадлежность партийных людей, а он еще не дорос до членства в партии, он еще просто господин такой-то.

Меньше всего Фохт говорил о времени Великой Отечественной войны, эта тема ему, видно, была неприятна. Лишь недавно я от его сына, Юрия Ульриховича Фохта-Бабушкина узнал причину. В самом начале войны Фохт, как и сотни других штатских москвичей, записался в народное ополчение и отправился на фронт. Плохо обученные, плохо экипированные (часто не хватало винтовок и патронов), ополченцы несли колоссальные поте-

ри, на дальних подступах к столице остатки многих частей были расформированы, Фохт вернулся в Москву и вместе с областным пединститутом имени Н.К. Крупской, где он работал доцентом, отправился в эвакуацию в Магнитогорск. А там его ждало тяжелое испытание — арест.

Советских немцев сталинский режим с самого начала войны неукоснительно отправлял в сибирскую или казахстанскую ссылку, в трудовые лагеря, а то и просто в ГУЛАГ. Фохт был лишь наполовину немцем, по отцу, но в паспорте в пятом пункте стояла именно эта национальность, и его владельцу предстояло вынести все дикие репрессии, которые ему были уготованы свыше. При аресте Фохт узнал, что спасти его может лишь какой-нибудь звонок или телеграмма из ЦК партии. Но кто там знает рядового ученого?! Еголин! А.М. Еголин, предвоенный литературовед, преподаватель московских вузов, а с 1940 года — работник ЦК. В войну он стал там большой шишкой: заместителем Г.Ф. Александрова, начальника Управления агитации и пропаганды. При отсутствии Александрова Еголин ходил на прием к Сталину. Вся надежда была на Еголина. Кому-то из ближних Фохта удалось дозвониться до вельможи, и он оказался человеком, а не трусишкой: подсунул Сталину на подпись бумагу, где расхваливались достоинства Фохта и сообщалось об аресте. Сталин начертал: **«Разобраться»** — и этого оказалось достаточно, чтобы два полковника из соответствующего учреждения пришли выпускать Фохта на свободу со словами: «*Если у Вас будут какие-либо затруднения — обращайтесь прямо к нам*».

Однако Фохт не стал искушать магнитогорскую судьбу, где люди были на виду, и постарался при первой же возможности (чуть ли не в 1943 году, то есть еще в середине военных лет) вернуться в Москву. Не тут-то было! И здесь его арестовали и приготовили к высылке из столицы. И снова его спас Еголин: теперь уже достаточно было предъявить копию той сталинской резолюции, чтобы Фохта освободили. Вечная хвала Еголину, оставившему в литературоведческом кругу в общем-то унылую память: чиновник, посредственный ученый и т. п. — а вот, оказывается, этот бюрократ мог подниматься над страхами твари дрожащей и совершать мужественные поступки.

Фохту и везло, и не везло в жизни. Весной 1952 года, в тревожное и репрессивное время, за несколько месяцев до смерти

Сталина он снова попал, теперь уже в идеологическую, мясорубку. Будучи преподавателем областного пединститута, любимцем студентов, позволявшим себе произносить нестандартные, а иногда и опасные для того времени мысли, он, конечно, был ненавидим партийной шушерой. Искали повод, а таковой всегда можно найти. Защиту невинной диссертации В.И. Глухова («*Некоторые особенности реализма Пушкина и Гоголя на материале "Евгения Онегина" и "Мертвых душ"*»), где Фохт выступал оппонентом, превратили в двухдневный шабаш, в разгром и провал аспиранта, да еще и в идеологический мордобой кафедры и лично Фохта. Он же наотрез отказался каяться и признавать несуществующие ошибки, за что был изгнан из института! Через год с небольшим министерство устроило проверку института, и тут совершилось все наоборот: выгнали ректора института Ф.Х. Власова, известного погромщика, и восстановили на работе Фохта. Начиналась хрущевская оттепель...

Я расспрашивал Фохта и о его биографии: кто его родители? как он оказался в Нежине? Это занимательная история, ее стоит рассказать. Отец Фохта — классический тип германского профессора-юриста: погруженный в науку, он совершенно пренебрегал бытом, если не считать некоторой немецкой расчетливости. Узнав в «оттепельное» время реформ Александра II о приглашении иностранных ученых в российские университеты на льготных условиях, он соблазнился перспективами и стал профессором Петербургского университета. Будучи экономным холостяком, Фохт счел неразумным держать конный экипаж с кучером и завел всего лишь верховую лошадь, которую пристроил в какой-то конюшне близ своего жилья. И верхом путешествовал в университет и обратно.

Прошло немало лет. И вот, уже в 1880-х годах, трусил Фохт-отец на своей лошадке мимо Зимнего дворца. И надо же было у окна второго этажа оказаться императору Александру III. Царь удивился, увидев странную штатскую фигуру, явно без военной кавалерийской выправки, нахмурился и послал какого-то адъютанта узнать, кто это. Догнали, выяснили, рапортовали: профессор университета Фохт. «*Сегодня же сообщить профессору Фохту, что я запрещаю ему ездить верхом*», — резюмировал Александр.

Фохт был глубоко возмущен таким приговором, счел себя оскорбленным и немедленно подал прошение об отставке. Оно тут

же было принято (наверное, это событие совпало с русификацией преподавания в российских вузах, предпринятой по требованию Александра III). Профессор рассчитывал, что его будут уговаривать, но администрация и не подумала. Что же делать? Ехать на родину, где за четверть века его уже забыли и где вряд ли найдется вакансия в приличный университет? Он стал ходить в Министерство народного просвещения, где ему после нескольких отказов предложили наконец место в Нежинском историко-филологическом институте, наследнике знаменитого Нежинского лицея. Фохт был вынужден согласиться — и так и остался там навсегда.

В Нежине неожиданно разрушилось одинокое существование профессора. Семидесятилетний холостяк влюбился в молодую циркачку! Какой-то бродячий цирк задержался в Нежине, и Фохт вдруг зачастил на вечерние представления. Только, в отличие от Ваньки Морозова, героя известной песни Булата Окуджавы, влюбившегося в ходившую «по проволоке», Фохт избрал наездницу (уж не свою ли неудачную петербургскую карьеру всадника вспоминал?!). Но, в отличие от героини Окуджавы, наездница оказалась более человечной, она согласилась стать женой старого профессора. К ужасу хозяина цирка, Фохт отобрал у него популярную актрису!

И вот, плодом этого необычного брака и явился Ульрих Рихардович (кстати, иногда в статьях, списках, именных указателях его отчество пишется «Ричардович»; откуда пошло это англизированное наименование, не знаю, но все же сын немца должен быть Рихардовичем). Он великолепно сочетал в себе гены родителей. С одной стороны — теоретик, схематик, с явно немецким строгим строем мышления, с другой — удивительно раскованный, почти насквозь безалаберный, постоянно влюбляющийся, кумир аспирантов и студентов благодаря артистизму, живости, остроумию... И, увы, весьма злоупотреблявший спиртным (больше всего, по моим представлениям, любил армянский коньяк).

Домашние решительно боролись с его гастрономическими слабостями, но он, подобно Александру III, научился прятать бутылочки, доводя их до миниатюрности и предпочитая плоские фляги. Только Александр III засовывал спиртное в ботфорты, а Фохт — в книжные полки. Как и почти у всех российских профессоров, у Фохта была большая библиотека, стены были заставлены стеллажами, и за рядами книг всегда можно было

спрятать заветные запасы. Когда к нему приходили близкие его сердцу, он артистически запускал руку за книги то в одном месте стеллажа, то в другом — и безошибочно натыкался на бутылку: видно, места уже давно были намечены и использованы. После серьезной язвы у Фохта была отрезана большая доля желудка, осталась чуть ли не треть его, поэтому он должен был есть понемногу и часто, но на алкоголе это уменьшение никак не отражалось, он пил помногу за один раз, объясняя удивленным собеседникам, что твердая пища переваривается медленно, поэтому ее надо потреблять малыми порциями, а спиртное всасывается моментально, поэтому нечего бояться!

Держался Фохт даже при больших «порциях» хорошо, не теряя головы, но иногда впрочем, перебор отражался на сознании. Расскажу один такой случай конца 1960-х годов. Приехал Фохт в Питер на какую-то пушкинскую конференцию, сообщил, что днем зван директором Пушкинского Дома В.Г. Базановым на обед на дачу в Комарово, а оттуда вечером часов в семь–восемь приедет в гости ко мне. Домашние мои женщины приготовили ужин, ждем. Но Фохт не объявился ни в семь, ни в восемь, ни даже в одиннадцать. Около полуночи домашние пошли спать, а я все же остался дежурить на кухне. В первом часу ночи раздался длиннющий звонок — как звонят при панике или при милицейском визите. Открываю — еле стоящий на ногах Фохт с извинениями и оправданиями. Я сварил крепкий кофе, достал коньячку, гость быстро пришел в себя и колоритно рассказал о прошедшем дне.

Базанов очень рано его привез в Комарово, а потом много часов ублажал, упаивал. Было за что. В Москве готовилась грозная академическая комиссия по проверке Пушкинского Дома. Нужно было найти побольше упущений, чтобы снять с директорского кресла Базанова и посадить туда крупного московского вельможу Н.Т. Федоренко. Почему именно этого деятеля, востоковеда по образованию, задумали перевести в Питер на управление институтом русистов, — то ведают высокие инстанции, я понятия об этом не имею. Главное, что акция готовилась, и Базанов о ней проведал. Директор Пушкинского Дома, конечно, очень тревожился за свою судьбу, а тут еще приехал Фохт, включенный, как узнал Базанов, в ту самую проверочную комиссию. Как же его не ублажить! Фохт все это рассказал, а потом доба-

вил, заливаясь ехидным смехом: «*А я не сказал ему, что через неделю уезжаю на несколько месяцев в ГДР!*»

Все хорошо, что хорошо кончается. Федоренко пристроили в Москве, дав ему пост главного редактора журнала «*Иностранная литература*», и Базанов остался на своем месте. Кажется, и комиссию не посылали. Но мы тогда ничего этого еще не знали, смеялись над умолчанием Ульриха Рихардовича и пили за сохранение Базанова, так как хотя он и не отличался обилием добродетелей, но все-таки был уже привычный директор, а каков будет Федоренко — еще неизвестно.

Часам к трем-четырем утра Фохт начал опять пьянеть. Он уже никак не мог совладать с чашкой кофе, не мог ее взять. Кофе я разлил в небольшие узбекские пиалушки, а пиалы ведь без ручек. И вот я заметил, что Фохт тычет пальцем вдоль наружной стенки пиалы, безуспешно пытаясь всунуть палец в недостающую ручку. И вообще стал замолкать и «отключаться». Я уж подумывал поставить ему раскладушку (жили мы тогда в тесной кооперативной квартире, однако в моем кабинетике-библиотеке можно было его устроить). Но он вдруг решительно запросился «домой», то есть в гостиницу. Вышли мы с ним на улицу, и, на счастье, тут же появилось такси с зеленым огоньком. Усадил я гостя, распрощались, водитель газанул браво, но вдруг через несколько метров резко затормозил и так же браво сиганул назад ко мне, еще не ушедшему. Слышу недовольный голос Фохта: «*Я же русским языком вам говорю: метро "Новослободская"*»! — и уже ко мне обращенный голос водителя: «*Поясните, куда его везти?*». И я вдруг с ужасом понимаю, что не спросил Фохта, где же он в Питере остановился. Увещеваю: «*Ульрих Рихардович! Вам слишком дорого будет стоить поездка до московского метро! Вы — в Ленинграде. Вспомните, где вас поселили?*» Все-таки удалось расшевелить его, совсем засыпающего: в известной академической гостинице на Халтурина, то есть по-человечески, на Миллионной. Уехали.

Тут я с не меньшим ужасом воображаю: а что, если водитель доставит его не в гостиницу, а в вытрезвитель или милицию?! Ой, надо было мне не полениться и довезти гостя до постели... Вспомнил, что мельком Фохт сообщил в ночном разговоре об утреннем визите к нему одной общей знакомой. Утром звоню этой даме: ее уже нет дома. Звоню днем: вернулась! «*Были ли вы сегодня у Фохта в гостинице?*» — «*Да*». — «*Ура! Больше мне ничего не нужно!*»

Еще расскажу о моей докторской защите в 1967 году. Попросил Фохта оппонировать мою диссертацию о русской литературной критике середины XIX века. Он без колебаний согласился, слава Богу. Фохт был легок на подъем, в Ленинград любил приезжать, да и ко мне он относился, смею полагать, весьма дружественно. Хотя я заблаговременно вручил оппоненту диссертацию, но он, конечно, ничего не написал. Я, впрочем, и не надеялся, зная его натуру, но твердо решил держать его в Питере, пока не получу письменного отзыва — свежий пример со скандальной историей в Горьком у меня был перед глазами. Без письменного (печатного) текста, заверенного по месту работы оппонента, было невозможно отправлять документы в ВАК. Тогда уже кончились блаженные времена 1940-х годов, когда известный профессор В.А. Десницкий впервые открывал диссертацию, лишь садясь в присланную за ним машину, и потом досматривал ее уже во время самой защиты — талантливый ученый мог экспромтом дать блистательный умный отзыв. Фохт был из этой же когорты талантов, он тоже умел «читать с листа». Но времена наступали очень-очень бюрократические.

Я основательно подготовился. У меня была отличная машинистка (тогда ведь не было компьютеров, все — на машинке!) Валентина Адамовна Калинина, та самая, которая невольно создала изумительный анекдот, ходивший по Питеру (молодые сослуживицы по машбюро как-то спросили ее: «*Валентина Адамовна, вы знаете, что такое гомосексуализм?*» — а она: «*Да ну вас, девчонки! я ваших марксизмов-ленинизмов не изучала!*»). Так вот, по моей просьбе Валентина Адамовна на следующий день после защиты взяла отгульный день и с утра ждала нас в гости. Я еще вечером договорился с Фохтом, что утром зайду к нему в гостиницу «*Европейская*» (тогда можно было простому профессору заказывать фешенебельный номер!), но не сказал зачем. О цели визита сказал уже в номере. Фохт всячески отказывался: «*Да я сразу в Москве напишу!*» и т. п., но я убил его грехневским примером — тут ему нечем было возразить, потому с большой неохотой согласился. Машинистка жила около Русского музея, так что мы без проблем оказались у нее через несколько минут. Фохт оживился, уверенно и быстро — тоже «с листа»! — начал диктовать текст отзыва, и часа через полтора все было готово. Подпись оппонента заверили на филфаке Ленинградского университета, где

я защищался (а не в ИМЛИ, где работал Фохт) — эта вольность как-то проехала, и мои документы вскоре отправились в ВАК.

Московские коллеги могли бы поведать немало веселых историй, связанных с Фохтом, но были и грустные рассказы. Пожалуй, самый драматический — финальный рассказ уборщицы академического подмосковного санатория осенью 1979 года, где Фохт отдыхал и где скончался. Несмотря на почтенный возраст и нездоровье, он старался не лишать себя приятных развлечений и не отказывался ни от полуночных танцев с молодежью, ни — в санатории! — от спиртного. Проведя бурный «молодежный» вечер (да и часть ночи), он под утро почувствовал себя очень плохо и не встал к завтраку. Служительница, придя после завтрака убирать комнату, застала его лежащим на кровати одетым; на ее удивление, что он в таком виде и что не пошел завтракать, Фохт ответил отрешенно: «*Не беспокойтесь, мне уже ничего не нужно. Я буду сегодня умирать*». Та не поверила, ушла — но он в самом деле умер в тот день не вставая.

Обозревая жизнь этого человека в целом, замечаешь, конечно, сильное влияние генов матери-циркачки. Можно, естественно, сетовать, что отцовские гены недостаточно обильно продуцировали творческие возможности ученого: он все-таки мало реализовался в науке. Но, с другой стороны, был ли бы тогда Фохт такой яркой, запоминающейся личностью? Может быть, тогда бы и в научной продукции он стал бы скучнее, банальнее? Гены сами знают, в какой пропорции им соединяться и как создавать уникального человека! Главное же, как в известном восточном анекдоте, — «отдельно не продается!».

## СЛОВО О Б.О. КОРМАНЕ

Бориса Осиповича (Ошеровича) Кормана я знал четверть века, с Некрасовской конференции 1958 года в Ярославле, когда нас поселили в одном гостиничном номере. Мой сосед, медлительный в движениях, но с живой душой и с доброй улыбкой, сразу понравился. Его имя ничего не подсказало, но когда он упомянул Борисоглебск, то сразу вспомнилось, что Дмитрий Евгеньевич Максимов, чрезвычайно заинтересованно откликавшийся на появление таланта на филологическом небосклоне, несколько

месяцев тому назад возбужденно хвалил том ученых записок Борисоглебского педагогического института с обширной статьей Днепрова о теории романа и с совершенно оригинальной трактовкой поэзии Некрасова в статье Кормана, советовал раздобыть этот том. Писать незнакомым людям я постеснялся, а вот обращался ли я абстрактно на кафедру русской литературы Борисоглебского пединститута, или и туда не решился послать просьбу о высылке, сейчас не помню. Помню только, что книги у меня не было, и я, ссылаясь на мнение Д.Е. Максимова, попросил экземпляр у самого соседа. Он со смущением отказал, сославшись на разошедшийся уже тираж.

Но рыбак рыбака видит издалека. Мы быстро сошлись на литературных и литературоведческих оценках, почувствовали единство социально-политических воззрений (хотя, конечно, до полной откровенности дело не доходило — уже и хрущевская оттепель была, но слишком нас давил грузный страх репрессий, минувших, и, увы, совершавшихся). К концу нашего мимолетного ярославского знакомства я был уже владельцем дареного экземпляра ученых записок — конечно, у Бориса Осиповича была припасена малая толика экземпляров *«УЗ»*. Так я впервые прочитал новаторскую статью Б.О. Кормана.

Потом стали выходить следующие тома ученых записок со статьями борисоглебских ученых и педагогов, а в 1967 году Борис Осипович организовал представительную конференцию об образе автора, которую удостоили посещением Л.Я. Гинзбург и И.Г. Ямпольский. Вообще съехалось много талантливых ученых. Это была одна из самых интересных литературоведческих конференций в нашей стране.

Став доктором наук и профессором, Б.О. Корман соблазнился приглашением возглавить кафедру в Ижевске, в Удмуртском государственном университете. Наверное, это было правильное решение: здесь ему удалось собрать немало единомышленников, творческий коллектив молодых педагогов и ученых, вдохновить студентов, выискивать наиболее способных из них для аспирантуры. Правда, на кафедре и факультете были и далекие от интересов кормановской группы, они завидовали, они подозревали, они мешали... (если бы только соседи по кафедре мешали!).

Вообще, вся история нашего знакомства — это перемежающаяся чересполосица радостных известий об успехах Б.О. Кор-

мана и его окружения и досадных, горьких узнаваний о пакостях, о палках в колесах, о доносах и запретах. Последнего, увы, было, пожалуй, больше.

В советские годы филологическая наука и филологическое образование развивались очень неравномерно. Столица, с ее грандиозным и бдительным партийным чиновничеством и репрессивным аппаратом, фактически засушила литературоведение. В Московском университете, пединститутах, академическом институте им. Горького сохранялись отдельные яркие личности, но исчезли школы и группы. Каким-то чудом не уничтожилась, несмотря на потери, петербургская школа, создававшаяся в Ленинградском университете после революции. И чудом, главным образом, вокруг талантливой личности, образовывались школы в провинции, особенно яркий пример — скафтымовская школа в Саратовском университете.

Провинциальные группы филологов, да и вообще любых ученых и педагогов, находились в двойственном положении по сравнению со столичными: с одной стороны, вдали от высокого партийного начальства, от Лубянки, от бегающих туда и сюда добровольных или насильно завербованных стукачей можно было свободнее общаться с коллегами и учениками, более раскованно читать лекции и даже печатать относительно крамольные, по столичным меркам, труды, ни при какой погоде не разрешенные бы в центре; с другой — местные сатрапы были иногда не менее бдительны, самодурны и бесконтрольны, чем столичные, и их вмешательство в научную, педагогическую и даже личную жизнь подневольных было частенько куда более жестоким и отвратительным, чем в центре (уникальное исключение — Тартуский университет после Отечественной войны: назначенный в 1951 году ректором ленинградский партиец и физик Ф.Д. Клемент, искренний, бескорыстный коммунист призыва в партию 1924 года и настоящий ученый, специалист по люминесценции; будучи членом ЦК партии Эстонии, он был независимым не только от местных вождей, но во многом — и от таллиннского начальства).

На пути Б.О. Кормана, увы, не встретился второй Клемент. И ему было весьма неуютно, если не сказать плохо, и в Борисоглебске, и в Ижевске. Ведь рыбак не-рыбака видит более чем издалека, моментально определяет чуждость себе. Не-рыбак сразу

заметен как чужой по самым разным параметрам и ипостасям: не готов рукоплескать начальству местному и «большому», не склонен потворствовать начальственным указаниям относительно кадров — от студентов до преподавателей, не любит попоек и еще кое-чего, с ними связанного, а главное — сочиняет какие-то статьи и книги с идеями, не очень или даже совсем непонятными человеку, привыкшему к черно-белым шаблонам (на первый-второй рассчитайсь!) и к партийным лозунгам. Не знаю, интуитивно ли чувствовали столичные и местные рецензенты и цензоры, зарезавшие и охаивавшие труды Кормана и тем самым укорачивавшие ему жизнь, что в этих работах заключается глубинная антисоветская крамола, или же понимали? Ведь как М.М. Бахтин развивал теорию диалогизма как косвенный протест против господствующего в стране монологизма, против идеологической монополии одной-единственной правильной партии, так и Б.О. Корман (впрочем, я не знаю — честно скажу, — насколько осознанно он противостоял здесь официальным догмам; скорее всего — осознанно, хотя, конечно, не надо забывать, что и Корман, и Бахтин — филологи божьей милостью, они в первую очередь думали о своих литературоведческих проблемах, и противостояние официозу возникало невольно...).

Главные заслуги Б.О. Кормана перед литературоведческой наукой, наряду с массой частных открытий и наблюдений, — теория автора и историческая теория многоголосия. И в детальной разработке всежанровой, всеметодной, вообще — всеохватной теории автора, помимо других весьма важных аспектов, всегда чувствуется своеобразная защита дистанцированности (пусть и диалектически взаимосвязанной с другими элементами), своеобразной автономности автора, а за образом автора возникает и автономия личности творца произведения. Б.О. Корман создавал свою теорию в расчете на художественные тексты; думается, однако, что ее можно применить и к проблеме автора в любом тексте вообще: научном, бытовом и т. д. Изощренная методика анализа, подробнейшая классификация разного рода соотношений автора с другими компонентами художественного (шире — гуманитарного) мира противостоят марксистской схеме, марксистской теории отражения, стремящейся сделать творческую личность служанкой «объективной действительности» и очень не любящей разные субъективные и субъектные факторы.

А в кормановской теории многоголосия, тесно связанной с теорией автора, видится аналог бахтинского диалогизма (ведь реально диалогизм выходит далеко за рамки наследия Достоевского), видится косвенная борьба с коммунистическим монологизмом. Все эти противостояния — неявные, придраться прямо нельзя, но они заметны.

Во всяком случае, неимоверно трудно приходилось Б.О. Корману с публикацией статей и особенно книг. Стоило бы теперь обнародовать хамские рецензии на его книги: страна должна знать не только героев, но и своих подонков. Возникали немалые трудности и с конференциями. А последняя, юбилейная (якобы к шестидесятилетию образования СССР, а фактически — к шестидесятилетию Б.О. Кормана), намеченная на январь 1983 года, на которую должен был съехаться чуть ли не весь известный литературоведческий мир Советского Союза, была запрещена обкомовскими чинушами в самый последний момент, когда первые участники уже начали съезжаться в Ижевск... Тем самым буквально убили человека. Ведь Борис Осипович прожил после такого удара всего несколько недель — не выдержало сердце.

Есть характеры, генетически запрограммированные на конфликт с обществом (им при всех режимах будет плохо): характеры неуживчивые, колючие, мятежные (старейшина эстонских писателей Вальмар Адамс, родившийся в 1899 году, заметил: «*Я пережил девять режимов, и при всех мне было отвратительно*»; три режима — «буржуазный» эстонский, оккупационный немецкий, советский — держали его в тюрьмах). Возможно, среди гениев неуживчивых характеров больше, чем в кругу обычных людей. Ломоносов, Байрон, Лермонтов, Ап. Григорьев, Мандельштам, Цветаева... А может быть, их и в том кругу не меньше — просто никто не занимался подобной статистикой. Чрезвычайно трудно жить таким людям в условиях деспотических режимов. Но Б.О. Корман не был ни колючим, ни мятежным. Он очень уживчивый, покладистый, мирный, домашний. Невозможно его представить пишущим инвективу или публицистическую листовку, невозможно представить в качестве распекающего какую-нибудь мерзкую особу или дающего ей пощечину. И если уж таким «чеховским» характерам плохо, значит, более чем плох строй, при котором они живут.

Строй цензуровал их творения, зарезал или отрезал куски, заставлял переделывать. Он проводил свою кадровую политику, всюду назначая «своих» студентов, аспирантов, преподавателей. Он не выпускал «не своих» педагогов и научных работников за рубеж и не давал общаться с ними зарубежным коллегам. Он давил творчество, науку, образование, давил личность. И тихий, «аполитичный» интеллигент был этому строю, может быть, более ненавистен, чем прямые политические враги: там карательные «юридические» органы легко осуждали человека за антисоветскую деятельность, — а как прицепиться к такому?! Даже за тунеядство, как Бродского, не осудить... Потому и цеплялись при малейшей возможности, старались ущемить, где только возможно.

Но ведь как люто завидовала интеллигенции люмпенско-мещанская власть! Есть прелестный устный рассказ Б.М. Эйхенбаума об одном диалоге с соседом, знаменитым драматургом Евгением Шварцем. У Эйхенбаума жил породистый кот, смиренный в обычное время, но начинавший ревниво бушевать, когда к хозяину приходили гости; чтобы освободиться, при появлении Шварца, от мяукания и царапанья, Эйхенбаум отнес кота за дверь и плотно ее притворил. Кот начал страстно царапать дверь снаружи. — «*Вот вы, Евгений Львович, специалист по психологии животных,* — виновато-улыбчиво обратился хозяин, — *объясните, почему он так нервничает?*» — «*Наверное, он думает, что мы здесь без него мышей едим...*»

Эта мысль Шварца: «без нас мышей едят» — является ключом, даже символом, объясняющим мещанскую зависть к интеллигенции. Мещане (имею в виду не социальный статус, а психологический и мировоззренческий фундамент, где главные черты — бездуховность и накопительство) ведь прекрасно понимают, что там, «за дверью», другой, более высокий, более интересный и яркий, более разумный и нравственный мир. Одна спекулянтка дамскими тряпочками предлагала моей знакомой, работавшей всего на полставки доцента, платить сумму второй полставки, чтобы та раза два в неделю гуляла с ее пятилетней дочерью, уча ее интеллигентскому мышлению, привычкам, речи...

Современные социально-экономические перекосы, когда торговец зарабатывает во много раз больше интеллигента, несколько ослабит зависть-ревность, но ненадолго. Однако в нормальном обществе наличие у соседа автомобиля должно вызывать не злобное желание уничтожить машину или отнять ее, а стремление

заработать себе на подобную. Так и в отношении к интеллигенции: при всей нуворишевской беспардонности мечта спекулянтки нанять для дочки ученую-гувернантку более перспективна, чем потуги первобытных, пещерных администраторов запрещать конференции и книги... Очень хочется дожить до нормального времени, до человеческих условий существования русского общества (когда, надеюсь, не только тупых администраторов, но и спекулянтов не будет!). И крайне горько, что Борис Осипович не дожил даже до наших современных щелей и глотков свободы.

## Е.А. МАЙМИН КАК ТИП РУССКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА

Существует много определений интеллигентности. Как правило, их связывают с понятием «русский интеллигент», потому что именно в России в XIX веке создалось это понятие. У меня тоже есть свои определения, сейчас предложу их. Считаю главными два признака: превосходство духовных интересов над материальными и служение людям, отдача себя людям (противоположный тип — психологическое, не обязательно социальное, мещанство: материальные интересы на первом плане и эгоизм). Мещане в таком смысле могут быть и в ученом мире, как интеллигенты — среди крестьян и рабочих. Интеллигент, занимаясь и физическим трудом (конечно, если это не рабский, непосильный труд!), думает о красоте мира, мещанин пишет научную статью и думает о гонораре и похвалах. Интеллигент радуется успехам коллег и учеников, мещанин им люто завидует. Интеллигент знакомится с человеком, предполагая в нем открытость и доброжелательство (презумпция невиновности!), мещанин подходит настороженно и подозрительно. Интеллигент щедро дарит идеи, книги, время, мещанин подарки делает напряженно и с оглядкой. И т. д. и т. п.

Все остальные качества, приписываемые интеллигенту: терпимость, умение слушать другого, самоответственность, самоограничение — являются производными от двух указанных свойств.

И вот Евгений Александрович Маймин (далее пишу сокращенно: Е.А.) — образцовый, типический представитель русской интеллигенции. И духовность его, и открытость людям как бы лучатся, исходят от него волнами, на лице Е.А., почти всегда